

355  
-54

78

П. С. КОГАН

# КРАСНАЯ АРМИЯ

В  
НАШЕЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК“

СА-146455

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. предм. выдач. \_\_\_\_\_

8.12  
K-5  
Kp

СА-146455

~~15246~~

95  
96  
97  
98

8: 355

СА-146453  
8P210921  
K-57

K-57

ПРОБЕЖНО  
1944

## КРАСНАЯ АРМИЯ В ЛИРИКЕ

### I

Кто хоть несколько знаком с историей Красной армии, тот знает, что есть глубокое различие между этой историей и историей других армий. Красная армия никогда не была особым организмом, живущим вне народа своей особой жизнью, организмом, который нередко противопоставлен народу в качестве враждебной силы, охраняющей ненавистную ему власть, как это было в царские времена. Красная армия была носительницей революционных идей и часто выполняла функции не только военные, но и организационные и агитационно-политические. Ее отряды, расселенные во время гражданской войны по всем концам беспредельного пространства России, заняты были не только непосредственной военной задачей — уничтожением и изгнанием врага. Они были органическими элементами революционного народа и принимали деятельное участие в лихорадочной работе революционного строительства.

Вот почему литературу, посвященную Красной армии, нельзя отделить от нашей революционной литературы вообще. История откликов нашей поэзии на подвиги, совершенные Красной армией, прошла те же этапы, как и история поэтических переживаний, связанных с победоносным шествием Октября. И здесь, как и там, наша литература прошла стадию неопределенных романтических восторгов, эпоху вдохновенных призывов и манифестов, период пламенной, почти религиозной веры и благоговейного энтузиазма.

Была и другая эпоха — реального, простого изображения всех перипетий гражданской войны, эпоха, создавшая потря-

5246

89  
81  
a-146455

Оренбургская областная  
Библиотека  
им. Н. К. Крупской



---

сающую поэму, с которой могут сравниться только сказания времен Троянской войны или великого переселения народов, эпопеи, тем более волнующей, что она была свободна от романтики предшествующего периода, рассказывала о быте и действиях людей, осуществлявших всемирную историческую миссию освобождения угнетенного и эксплуатируемого человечества, с простотой и деловитостью, свойственными истинному героизму в моменты величайших общественных сдвигов. Есть и другие моменты, моменты мира, отдыха и успокоения, когда усталость и разлагающее влияние будней начинают разливаться по стране, пробираются к самым непреклонным и героическим характерам, стремятся болотной тиной мещанских интересов и настроений затянуть и загасить революционное пламя, пылающее в сердцах и умах наиболее творческих и активных сил народа.

Наша литература, по крайней мере, те ее представители, которые срослись с делом Октября, запечатлела весь героический путь, пройденный Красной армией, все волнующие моменты этого славного пути, историю народных надежд, связанных с ее титанической борьбой против океана врагов.

Первый период поэзии, воспевавшей Красную армию, как мы уже указали, это — период революционной романтики. В области формы, это — если не полное господство, то преобладание лирики. И таков был подход не только к Красной армии, но и ко всем движущим силам революции. И завод, и политический вождь, и рабочий, и крестьянин, наряду с красноармейцем, были окутаны таинственным ореолом. В это время было еще не до того, чтобы рисовать реальных людей, вдумываться в детали огромного движения, понять красоту будней, каждого медленного шага вперед. Само движение заключало в себе немало стихийного. А главное, в это время верилось в быстроту переворота. Казалось, что мы накануне мировой революции, которая повсюду, как это было в России, снесет с лица земли прогнившее общество, построенное на остатках дворянских привилегий и на основах капиталистической эксплуатации. Поэтическому воображению рисовались такие заманчивые дали, что мысль уносилась за пределы нашей планеты, и поэт Гастев мечтал уже о том, чтобы направить движение светил по новым



орбитам: что могло оказаться не под силу человеческому гению, освобожденному для организованной борьбы с единственным врагом — непокорной природой?!

Вот почему Красная армия, авангард великой всечеловеческой армии, идущей к этим новым невиданным целям, в песнях первых революционных поэтов теряет всякие реальные очертания и встает в виде какой-то неуловимой светлой мистической силы, окруженной черными исчадиями тьмы и зла. Мы приведем здесь целиком первое, если не ошибаемся, по времени стихотворение, обращенное к Красной армии, П. Бунакова, написанное почти одновременно с ее рождением и ярко воплощающее первые романтические смутные восторги, с которыми революционная страна, осаждаемая угрозами и опасностями, смотрела на защиту своей юной свободы.

Красная армия, армия Красная!

Где-то дорога опасная

Вьется, змеится над бездной по кручам

К жутким клубящимся тучам...

Где-то ползут скорпионы и тернии,

Кутаясь в тени вечерние...

Что-то скрывая за сумрачной далью,

Блещут зловещею сталью...

Красная армия, армия Красная!

Тьма притаилась безгласная,

Липкими пальцами встречного ловит,

Дикое что-то готовит...

Кем-то сурово винтовка сжимается...

Жизнь, как солома, сломается...

Вспыхнет последнее злое сраженье,

Но не умрет достижение!

Красная армия, армия Красная!

Алое знамя атласное,

С верой в победу и с грезой о мире,

Шире разворачивай, шире!

Сила врага притаилась упорная,

Мстятчая, злобная, черная...

Встали препятствия к блещущим зорям...

Силой с врагами поспорим!

В стихотворении налицо все традиционные приемы символической романтики предшествующего периода. Вместо

конкретных образов неуловимые «где-то» и «что-то», олицетворение отвлеченных понятий («тьма притаилась безгласная») — поэзия настроений и смутной тревоги, нарастающих зловещих предчувствий, приемы, ведущие свое начало от Леонида Андреева, столь распространенные в эпоху предреволюционного модернизма и совершенно оставленные русской литературой, когда ход революции потребовал от нее ясного подхода к событиям, четкого мирозерцания и художественного освещения сложных и разнообразных сил, участвующих в построении новых форм общества. На первых порах поэты не ищут новых приемов. Они берут все существующие формы творчества, потому что форма не важна, важно дать выход льющемуся через край чувству беспредельного восторга и безграничной веры.

В таких же неопределенных романтически-идеализующих тонах рисуется воображению другого поэта — С. Образовича — союз красноармейца и рабочего — двух активных сил, ставших на страже революции в первые ее дни. Стихотворение называется «Две Доли» и написано в виде обращения красноармейца к рабочему. Это — два титанических образа: один «за токарным станком у привода, в душных и каменных стенах завода; с молотом верным, с железной пилой, в шахте с киркой, глубоко под землей», другой — «у бойницы в окопе глубоком... вечно с винтовкой, недремлющим оком, в холоде лютном, в грязи и пыли... он на защите родимой земли». Красноармеец говорит рабочему о двух славных долях, доставшихся им, зовет его строить новое здание жизни и клянется охранять его труд и покой:

Смело товарищ... Твой голос призыва  
Слушает чутко окоп молчаливый...  
Знай. На пути своем ты не один:  
Вместе с тобою солдат-гражданин...  
Если, измучен упорной борьбою,  
Знамя ты сложишь... Я вместе с тобою  
Красное знамя труда поддержку,  
Приговор смертный врагам я скажу...

Эти первые стихотворения определили собою характер всей последующей лирики в ее отношении к Красной армии.

---

Прежде всего, самая задача. В первые дни поэзия не видит ближайших целей, стоящих перед нашими вооруженными силами. Всемирное счастье и свобода, — на меньшем не мирилось нетерпеливое стремление революционера в медовые дни революции. Поэт Александровский приглашает двинуться стройными рядами, кинуться горящей лавой, разрушить «жизни грани», зажечь «дневной рассвет»:

С багряными знаменами,  
Колоннами сплоченными,  
Равнинами безбрежными  
За сказками мятежными,  
Влюбленные в просторы,  
Мы с гимнами пойдем...  
В рассветные мгновения  
Мир ждет преображения,  
И мы, во тьме рожденные,  
Никем не побежденные,  
На солнечные горы  
Победный стяг внесем...

Другой поэт — Кириллов «любуется гордой силой, красотой непреклонных лиц» и верит, что «старый мир постылый навсегда опрокинут ниц». Он убежден, что последней битвы гром гремит над станом мирового боя и что тревожные и радостные звуки зовут к славному победному концу. Это же, недалекое уже, торжество мировой революции чудится С. Родову: «скоро грек, француз и негр черномазый у ворот революции станут на страже», когда Красная армия пронесет по всей Европе лозунг — «вся власть Советам». Не сомневается Илья Садофьев, что старый мир погребен теперь навсегда, что «узкий крестный и тернистый путь рабов кончен шествием борцов», что «разрушен строй позорный зла и крови, угнетенья, человекоистребленья ненавистный строй» и что молодые борцы, идущие на смену «братьям павшим», пострадавшим, уставшим, несут в мир «святые новые скрижали».



Для всех этих поэтов Красная армия непобедима, так как за ней история, на нее возложена великая миссия освобождения человечества самой логикой событий.

Неудивительно, что поэты любят эту передовую отрядом начавшегося в мире великого поступательного движения. Мы приведем несколько изображений Красной армии у них.

Армия красная... Поступь свободная,  
Лица веселые, радостный взгляд...  
Вера глубокая в счастье народное,  
Песни, как светлые гимны, звенят.  
Сила могучая, гордая, властная —  
Кто перед нею в бою устоит,  
Сила народная, армия красная,  
Все сокрушит она, все победит.  
Армия красная... Море шумливое,  
Смелых восторгов живой океан,  
Юное племя стихийно-бурливое,  
Огненной лавы кипучий вулкан...

*И. Арский.*

Вот гимн матросам:

Герои, скитальцы морей, альбатросы,  
Застольные гости громовых пиров,  
Орлиное племя, матросы, матросы,  
Вам песнь огневая рубиновых слов.

Вы — солнце, вы — свежесть стихии соленой,  
Вы — вольные ветры, вы — рокоты бурь,  
В речах ваших звоны, морские циклоны,  
Во взорах безбрежность — морская лазурь.

*В. Кириллов.*

Красная армия в изображении того же поэта — «рать звездоносная, железный легион, сыны полей, грохочущих заводов». Ее знамя — символ нравственного возрождения человечества. Под это знамя собираются все зиждательные силы. Сюда идет, «кто хочет есть свой честный хлеб», и тот, «в ком пламенеет месть к насильникам, свирепым черным ротам». Под это знамя должен стать всякий, «кто не желает быть достойным тяжкого сыновьего проклятья», всякий, «в ком совесть не молчит», все, кто горят пламенем всемирного братства.

Можно было бы увеличить до бесконечности эти примеры, свидетельствующие о том, что русская поэзия поняла всемирно-историческую роль боевого авангарда революции, отстаившего ее завоевания на тысячеверстных фронтах против ошестившегося мира дворян, попов и банкиров. Поэзия отразила любовь революционных сил восставшего народа к его армии и воплотила его непоколебимую веру в ее непобедимость. Этот романтический подход к армии, эта звучная поэзия гимнов и призывов, иногда впадающая в тон старинных од, исторически естественна и понятна. В эти времена вся Россия представляла военный лагерь, рабочий и крестьянин становился на время воином, чтобы снова вернуться к станку и плугу.

По мере того, как страна освобождалась от внешних и внутренних врагов, жизнь входила в нормальную колею, и поэзия от общих восторженных дифирамбов и романтической идеализации переходит к более реальному изображению и к более конкретным образам. По мере того, как рассеивается угар военного героического опьянения, является потребность пристальнее присмотреться к отдельным моментам грандиозной картины, разобраться в деталях, глубже проникнуть в единичные фигуры, запечатлеть наиболее волнующие эпизоды. Есть время осмотреться и подумать, есть о чем вспомнить, и есть кого помянуть поэтическим словом.

### III

Содержание лирики, посвященной войне и ее героям, расширяется. Пред нами ряд волнующих воспоминаний. В поэме молодого поэта Исбаха «Великих дней великие виденья» проносятся вереницей дни, «когда железной страшной лавой, в руке сжимая знамени древко, бросали в воздух клич: «Даешь Варшаву» и брали неприступный Перекоп; когда, смелая, враг шагал из-за прикрытий, и жалил, и грозил, и обливал свинцом, — был грудью вход закрыт в любимый красный Питер красноармейским кованым борцом». Это — те дни, когда «героев не было, героев было много, героем каждый был, кто победил и пал и за победу уверенно и строго с винтовкою в руках по

труппам наступал; железным строем, от винтовок дымных, шли напролом к тому, что ждало впереди».

Часто вспоминается знаменитый выстрел «Авроры», Кронштадт, «бессменный и горделивый — на вахте огнезарных дней», склонившийся «на черные валы залива гранитной грудью чутких крепостей», Кронштадт, которому еще не раз придется откликнуться на зов Совнаркома: «тогда на рейде ярче вспыхнет гребень труб опаленных, и всю ночь гореть победно будут в черном небе сигналы Ро-Со-Фе-Со-Ре» (Обрадович).

Истинным трагизмом дышат воспоминания красноармейца, рассказанные безыскусственным простым языком в день первого мая.

Было тоже первое мая,

Только в девятнадцатом году,

Мы колыцо блокадное ломали,

И те дни из памяти уйдут.

Помню поле, реченку и лес,

Оттуда в нас пулемет татакал,

А я и товарищи в атаку

Шли с винтовками наперевес.

И в то время, как в объятьях улиц

В городах справляли праздник трудовой,

Не один из нас, подбитый пулей,

Ткнулся мертвым в землю головой.

И у многих красноармейцев,

Не поднявших больше головы,

Разгоралися над самым сердцем

Пятна крови бантом огненным.

Много, много пулемет ухлопал,

Много в поле навсегда осталось,

Чтоб на занятых деникинских окнах

Заревое знамя развевалось.

И, когда спокойно за спиною нашей

В городах с знаменами ходили,

Мы товарищей с похоронным маршем

В братской складывали могиле.

Пережил, братишки, я немало,

Языком всего не рассказать,

Но вот это первое мая

Ярко представляется глазам.

*Н. Кузнецов.*



---

Характерная черта этих воспоминаний — непобедимая бодрость, отсутствие рефлексии, вера в победу и в правоту своего дела. Не только возвышенные настроения, когда «Аврора» возвестила миру Октябрь, когда стало ясно, что «от новых дней не скрыться никуда» (А. Жаров), но и незначительные эпизоды, маленькие биографии неведомых миру героев, рядовых красноармейцев, мимолетные встречи и случайные переживания, — все эти мелькающие сцены образуют в совокупности то великое, что зовется Красной армией. Вот краткая повесть Самобытника. «Он ушел с винтовкою в окопы защищать советские границы». Она осталась одна с малюткой и отдается воспоминаниям, как давно встретила с ним случайно на заводе, как он проводил ее и «сердце полюбило, зазвенело песней счастья тайной». Это был человек железного закала, и в борьбе за вольную идею был всегда он пламенно-могучий. Он бросил без тоски свой ковкий молот, пропел на прощанье «Мы светлый мир построим», наклонясь над русою головкой, попрощался с ней и сыном, «а поутру закаленным строем он пошел по улице с винтовкой».

Все мы ищем в жизни счастья тропы,

Чтоб взлететь на волю легче птицы.

Для чего же грустных слез потоны

Пролить на светлые страницы?

Ведь для счастья он ушел в окопы,

Чтоб чертить судьбы своей границы...

Трогательное, но тоже бодрящее впечатление производит небольшая стихотворная повесть В. Александровского о девушке-красноармейце. Было как-то радостно и неловко, что она среди огрубевших солдат стреляла в цель из винтовки, крепко жмуря левый глаз. Затем ее и поэта разделили события, когда «кровью дни задымались, зубы оскалил голод... бронированные поезда, открыв смертоносные пасти, отправлялись на фронты». Далее, он видал ее «однажды при разгрузке больных и раненых солдат». Ее внесли на перевязку. В лазарете она рассказывала о пережитых тревогах, о тех днях, когда «города победы опьяняли, кровь погибших удобряла топи... эти дни бунтующие

пряли боевые лозунги Европе». Она поправилась. Снова вокзал, снова «ура» рождали вагонов рты. Она уехала вторично...

... Убита ...

Так что же? —

Капли крови

Рубинами блещут

На красных знаменах;

Великое — вечно,

О, сколько юных

Выпьют напиток

Бессмертия ...

Так же несложна и поэма Бориса Ковынева о Гришке. Он родился в переулке, в холодном и гулком «городище», и мог ли понимать город, утопая в «делища» и «дельцы», что «ему потерянная мать подарила розовое тельце». Стал Гришка босяком, одиноким уличным мальчишкой: «шумный город, грязный омут; Гришка тонет в гул и вой; бродит он от дома к дому, тащит дни по мостовой». Был карманником, сходил с проститутками и «полюбил он бульварную шмару, как умеет любить босяк... не раз сжигал он полусутки на горячей Любкиной груди». Но вот однажды Гришка услышал то, чего он никогда не слышал. На высоком грузовом автомобиле, на углу у фонаря, говорили про свободу и царя, про богачей и про многое другое. С тех пор побывал Гришка на баррикадах, видел «дни всемирного пожарища» и перед тем, как идти на фронт, Гришка к Любке пришел на свиданье. Звал он ее к новой жизни, но «Любка только глазками играла, Любка глазки строила в ответ» Встретились еще раз Любка и Гришка уже во времена нэпа:

Был однажды день туманно-хлопкий,

За витринами тайлся «Нэп».

Любка лужи задевала юбкой,

На бульваре добывая хлеб.

В тот же день в красноармейской каске

Шел и Гришка — красный военком.

Вспомнил Гришка черненькие глазки,

Вспомнил милую тайком.

Увы, и на этот раз увидал Гришка, что навсегда непроходимой пропастью отделен он от нее, увидал, как «напрокат за

несколько бумажек укатали Любку в ресторан». И эта повесть заканчивается, как и вся поэзия о Красной армии, бодрым призывом. Есть в эти сверкающие дни иные пути помимо интимных встреч, иные захватывающие дали:

Эх, о ней не будет Гришка плакать,  
И не будет Гришка Любку вспоминать...

Много суровой красоты в небольшом эпизоде о разведчике из поэмы «Явь» С. Образовича. Батальон произвел в ночь четыре лобовых атаки, батальон изнемог. Хмур командир: кровь с головы, труп политрука у ног. Приказано «пятой атакой быть на форту». В обход крадется разведчик: «болотные тропы — темнее судьбы; в бору — не звериный рык: у каждой болотной лесной тропы — взор, слух, штык». Но не кружит головы риск не корежит страх кошачий шаг, «когда — позади в тифу, в корчах и ночах голодающие города». Тщетно шарил прожектор бледной рукой: высота — пуста, и простор — пуст. И казалось, будто, «тайной тропой полз из бора болотом куст». Разведчик сделал свое дело. Батальон кинулся за ним, и когда утром уже трепетало знамя над фортом, «то качало болото на зыбкой груди полбатальона перед фортом и разведчика впереди».

Каждому день заглянул в муть  
Опрокинутых глаз;  
Над разведчиком — стих;  
Весенняя синь,  
Девичья грудь,  
И с девичьих губ — бескрылый крик.

#### IV

И далее серия эпизодов, совершенно незначительных.

В них нет никакого величия, нет трагизма. Будничные, незаметные, — чистая повседневность, но смысл целого сверкает в них с такой же ясной четкостью, как и в поражающих с первого взгляда героических моментах сражений. Они чаще всего в поэзии комсомольцев. Они — как бы иллюстрация к известным стихам Безыменского: «Только тот наших дней не мельче, только тот на нашем пути, кто умеет за каждой мелочью



революцию мировую найти». Беззаветной удалью веет от стихотворения Н. Кузнецова «На побывку»: красноармеец, идущий в свою деревню, которому «хорошо шагать и песенки наяривать, а итти осталось пустяки»:

Я сюда приехал на побывку,  
Чтоб помочь отцу на сенокосе,  
Набивать воза, покрикивать на сивку,  
Бить цепом тяжелым по колосьям.  
И с толпой ребят и девок за околицу  
Выходить я буду в дни воскресные,  
И, пока луга рососою не умоются,  
Будут ночки с пляскою и песнями.  
Для людей, заброшенных в сторонку,  
Принесу с собой немного света.  
Я привез из города в котомке  
Небольшой подарок — книжки и газеты.

Та же удаля в стихотворении Макара Пасынка «Призыв» («Пришел черед — ступай, Ванятка, смени того, кто срок отбыл») и «Прощание с винтовкой»: парень, уходящий в отпуск, вспоминает о боях и походах, в которых он не раз побывал с «родимой винтовкой», вспоминает «команду старого краскома» и уроки политграмоты, на которых он узнал, «зачем пошел он на богатых», и где сложилось четкое мирозерцание в его «красноармейской голове»:

Прощай, родимая винтовка,  
С тобой знакомится другой;  
Возьмет тебя на изготовку,  
Как брал товарищ-отпускну.

Из бесчисленного количества песен, напоминающих частушки и плясовые, приведем одну. Самый ритм ее говорит о бодрости и уверенности, о том радостном душевном равновесии, в котором дело и веселье сливаются в гармонию и самая цель дает художественную форму празднику и отдыху. Это — стихотворение А. Ясного «Красноармейское».

В кустах дорожных виснет ругань,  
И не от солнца горячо.  
Гармонька — верная подруга,  
И лихо дергает по кругу  
Красноармейское плечо.

Эх, принуждаться б в пляс и ружьям,  
Но тянет в небо синь штыков,  
И все звончей гармошка тужит,  
И враз высвистывают дружно  
С полсотни свистунов.

Душа армейским именинником  
Под блузой пляшет трепака,  
И, точно повенький полтинник,  
Блестят, искрятся и не стынут  
Глаза политрука.

Эх-ма... От жаркого озноба  
Пустилась песня в каблучок:  
«За власть советскую до гроба»,  
Да солнце — верная зазноба —  
Целует в губы горячо.

Можно было бы создать целую поэму из этих мелькающих фигур, мимолетных явлений. Иногда все стихотворение посвящено мигу, бросившемуся в глаза: труп убитого партизана и набежавшей мысли о девушке, которая ждет его там, в далеком Ленинграде. Или картинка далеких дней, когда «Октябрьский ветер стонет глухо над перекрестками дорог, бредет ворчливою старухой усталым шагом дряхлых ног... и суетливо шепчет в уши красногвардейцу на углу: товарищ... слушай, чутко слушай вокруг глухую злую мглу» (С. Обрадович). Мимолетное впечатление на привале: «Враг убегает. Отдых на вечер. Остро натянуты дни — тетива. Лишь мое тело, горевшее в сече, знает, как сладок сонный привал». Мягко и томно усталому телу, успокоившемуся до рассвета:

Может-быть, завтра, в такой же вечер,  
Ворога белого в поле убью,  
Затем, что люблю я мир человеческий,  
Мир утомленный нежно люблю.  
Нет, на привале ружья не оставлю,  
Только дотлеют ночные костры —  
Был ли, мудрым, нежен ли, прав ли?  
Солнце расскажет с синей горы.

## V

Особый цикл лирики посвящен отдельным героям. Многие из них названы по именам. Иные являются как бы собира-

тельными образами. Возник даже специальный вид поэзии, что-то вроде небольшой полу-эпической, полу-лирической былины, — коммуэра. Эти коммуэры хорошо рисуют ту школу, которую приходилось преодолевать герою войны, сегодня командиру, завтра ученику губпартшколы, далее — предгубисполкома.

В коммуэре о курсанте Лелевич изображает военкомбрига, отправившегося в партшколу, потому что стало «без учебы кругом темно, с тех пор, как нэп постучал в окно». Наука оказалась труднее Деникина и поляков для неустрашимого вояки: на лекциях долгих — кругом голова; знать, страшнее пулемета бывают слова: «на заводе кувалду поднимал он легко, из винтовки в бригаде попадал далеко, разгибать подкову рукою мог, — а от лекций и книг занемог. Сядет, стиснув виски, ввечеру, а к утру весь — в жару». Но бессонные ночи и упорная воля сделали свое дело. Военкомбриг победил науку, он стал лучшим лектором на весь район, слышит приветы со всех сторон: «и дивятся, откуда к нему занес зловещие хрипы туберкулез».

Этому же поэту принадлежит повесть «О комбриге Иванове»:

Он был лихой кавалерист,  
Владел и шашкой, и винтовкой,  
А как искусен в джигитовке!

И на фронтах — страшной грозы...  
Сам командзан ему за это  
Поднес с цепочкою часы  
От Петроградского Совета.

И вот комбригу после изгнания «барона» пришлось зазимовать в одном местечке вместе с своей бригадой. Поместился он «в квартире знатной». Его хозяин, «пухлый, круглый поп», сгибался пред ним в три дуги, и вскоре комбриг влюбился в его дочь Олимпиаду Алексевну.

Сперва наш доблестный комбриг  
По вечерам за чашкой чая  
О разных схватках боевых  
Рассказывал, не умолкая.

Потом ей книжки стал давать...

И вот Бухарин и Богданов

Поповну стали увлекать

Сильней чувствительных романов.



Попа совсем бросает в жар,  
Когда холодной зимней ночью  
Комбриг вздувает самовар  
В прихожей темной с милой дочкой.  
Комбриг, смотри. Сильнее дуй,  
Иль пропадет твой труд задаром...  
Как сладок первый поцелуй,  
Над нераздутым самоваром.

Комбриг сделал предложение, но девушка потребовала венчания в церкви. Взбешенный красный командир две ночи ломал себе голову, а на третью придумал выход. Он объявил «Доклад о боге. Вход для всех. Попов зовем для возражений». Доклад окончился блестящей победой комбрига при огромном стечении народа. Восхищенная девушка поссорилась с отцом («и записалась с удалцом в отделе актов Исполкома»):

Когда же юная весна  
Сорвала зимние преграды, —  
Страхнув с себя оковы сна,  
Далеко двинулась бригада.  
И с вереницею бойцов  
Помчались вместе в путь безвестный  
Комбриг, товарищ Иванов,  
С своей комбригшею прелестной.

Проста «Коммунэра о последней ночи», где изображен тревожный город ночью накануне отступления большевистских войск и сдачи города казакам. В этом городе, погруженном во тьму, напоминающем, без окон светящихся, свинцовый гроб, комиссар из штаба в безмолвном автомобиле подъехал проститься с любимой девушкой. Уходя, он услышал шопот двух предателей, отметивших номер ее квартиры.

«Дважды щелкнул спокойный курок.  
Дважды землю взрыли тела.  
Ничем не откликнулась мгла.  
А утром, когда казаки пришли,  
В воротах два трупа друзей нашли,  
Да в домике пустом у пустого стола  
Серела и теплилась кучкой зола».

В-146455

5246

вольют бодрость в сердца будущих поколений, которые придут на смену. Тем, кому расти, «кому идти, как нам в пути», нужно напоминать «о черных, о бывалых тучах».

Быть-может, им, узнавшим ласку  
Освобожденных матерей,  
Итти быстрее и веселей,  
Чем нам, не позабывшим сказки  
Суровых дней,  
Суровой сказки, что вспола  
Нас злыми к холеным рукам,  
Той сказки, что когда-то была,  
Чья память нас не раз возносила  
На Перекоп врага.

Лихая сказка.

В снежный вечер,  
Когда зима, когда тепло,  
У комсомолки, что за печью,  
Затормощат детишки плечи,  
И голос звонок, как стекло.

И тогда в снежный вечер она порадует их песней о былом,  
споеет им о днях прошедших,

Так, чтобы с песней — в бой,  
Так, чтобы жечь и не сжечь их.  
Так, чтоб пылать сердцам  
Болью и злобой жгучей  
К тем, кто пытал отца,  
К тем, кто веками мучил.  
Пой им, товарищ, пой,  
Спой им о каторжной муке.  
Пусть помянут слезой  
Тех, кто погиб за внуков.  
Внукам иное петь.  
Звонче, звончей звените,  
Песни ушедших дней.  
Внукам моим,  
Как и мне ...  
Не позабыть,  
Не простить их.

## ФУРМАНОВ. МАЛЫШКИН

После лирической поэзии, воплотившей любовь и пламенную веру, которыми революционное сознание окружило Красную армию, совершенно иное впечатление производит обширная литература мемуаров и повествований об эпохе гражданской войны. В смысле внешней формы эта перемена характеризуется исчезновением лирики и утверждением беллетристики, принимающей иногда форму настоящего эпоса.

В своей книге «Литература и революция» Тродкий бросил следующий вызов писателям: «Знаменательное явление: для художника 1918—1921 годов не существует Красной армии. Как так? Прошлые годы революции были, прежде всего, годами войны. Кровь отхлынула от сердца страны к фронтам, периферии и там обильно проливалась в течение нескольких лет. Энтузиазм, веру в будущее, самоотвержение свое, ясность мысли, волю свою рабочий авангард вкладывал в эти годы в Красную армию».

Русские писатели словно приняли этот вызов и ответили на него богатейшей литературой, которая действительно говорит нам о том, что были периоды, когда вся революционная энергия достигла своего величайшего напряжения в беспримерных подвигах Красной армии. Быть может, никогда в истории не существовало такой органической связи между армией и литературой. Стоит прочесть биографии наших писателей, и мы увидим, что большинство из них получило свой закал, свой опыт, свое знание жизни там, на многоверстных фронтах. Красная армия давала материал не только непосредственно своими действиями, не



только примерами нечеловеческой борьбы. Она была проводником революционного сознания в умы и сердца наиболее чутких и вдохновенных. В эти годы не было другого места, где художественная мысль могла бы воспринять с такой непреложной ясностью величие совершающегося сдвига. В это время ни хозяйственный, ни культурный фронт не давали материала для творческого вдохновения, не поражали воображение. Цвет революции был на фронтах. Внутри страны нищета, голод и разруха, пресловутая «пара поездов», еле тащившаяся по главным артериям страны, опустевшие университеты, замерзшие лаборатории, продрогшие, голодные люди. Но армия ярко свидетельствовала о том, что революция полна неиссякаемой энергии и идет вперед. Художественное изображение, которое ищет монументального и великого, в это время могло найти его на фронте больше, чем где бы ни было. В это время Красная армия является высшей красотой революции, самым ярким пятном на ее залитом страданиями и кровью фоне. Она служит не только залогом торжества революции, но и великим источником поэтического вдохновения.

Вот несколько биографий, говорящих о том, где и как воспитывались русские писатели этой эпохи.

Федор Гладков — «мальчик» в типографии. Лишения. Голод. Революционные кружки. Ссылка. И, наконец, гражданская война. На Кавказе. Фронты и фронты.

Дмитрий Фурманов — сначала Земсоюз. Далее, преподаватель на рабочих курсах. Революция. На фронте — с отрядом Фрунзе. Комиссар Чапаевской дивизии. Начальник политуправления Туркестанского фронта. Комиссар красного десанта. Контужен в ногу. Награжден орденом Красного Знамени и т. д.

Всеволод Иванов — матрос. Факир. Актер в ярмарочных балаганах. Война и революция. Несколько раз приговорен к расстрелу...

М. Зощенко. Арестован 6 раз. К смерти приговорен один раз. Ранен три раза. Самоубийством кончал два раза. Били три раза. Доброволец Красной армии.

Николай Тихонов. Летал с лошади три раза. Контужен был один раз. Спасал броневой поезд. Защищал Петроград от Юденича...

Так рассказывают в своих автобиографиях о себе писатели. И биографии эти можно было бы продлить без конца. Можно сказать, что редкий из писателей так или иначе не прикоснулся к фронту. Мы имеем настоящую былинную поэзию. Легендарная борьба, которую выдержал русский народ и его армия, изображена и на широких полотнах, и в виде отдельных эпизодов, небольших очерков, увековечивающих выдающиеся моменты борьбы. Достаточно назвать такие произведения, как «Железный поток» Серафимовича, художественно воспроизводящий знаменитое отступление армии, вышедшей с Таманского полуострова, прошедшей сотни верст среди неодолимых препон, среди враждебного казачьего моря и соединившейся, в конце концов, с большевистскими армиями; «Падение Даира» Малышкина, рисующего незабвенные дни крымского прорыва; «Огненный конь» Гладкова; «Неделю» и «Комиссаров» Либединского; очерки Дорогой-Ченко, Фадеева, Артема Веселого и ряд других.

Если Красная армия выполнила свой долг перед рабочими и крестьянами, то новый советский писатель выполнил свой — перед Красной армией. Он сумел осветить великую роль, которую сыграла она в начавшейся борьбе за освобождение человечества.

## II

В противоположность лирике, в этой беллетристике нет романтизма, нет идеализации, нет никакой выдумки и фантазии. Это, своего рода, новый литературный жанр, часто состоящий из перечисления фактов или официальных документов, связанных между собою только необходимыми вставками для того, чтобы не прерывалась нить рассказа, и, между тем, эта беллетристическая литература, несмотря на свой документальный характер, на свою видимую деловитость и сухость, производит более волнующее действие, чем вся романтика и пафос охарактеризованной выше лирики.

В этом нет ничего нового. Такая классическая эпопея, как «Война и мир» Толстого, может служить примером. Сколько страниц наполнено там реляциями, донесениями, стратегическими планами и философско-историческими рассуждениями. И разве



менее велика оттого сила впечатления? Бывают моменты, когда события так грандиозны, что превосходят самую изощренную фантазию. В такие моменты, кажется, фотография — более действенное искусство, чем трагедия и поэма. Писателю остается только правдиво и точно рассказать то, что видел, и он овладевает вашим воображением с такой силой, какой не достигает самый изобретательный поэт. Быть-может, это тот жанр, которого бессознательно ищет наше время, когда жизнь так насыщена, что не хочется художественного оформления, не хочется никаких рамок, а все существо человека стремится только к непосредственному ощущению своей собственной внутренней энергии. Это — то, к чему как-то с разных концов сходятся и сюрреалисты, видящие сущность поэзии в глубоком внутреннем напряжении, переживании самого художника и мало интересующиеся вопросами о проявлении этого переживания в литературной форме; и конструктивисты, объявившие истинным искусством строение целесообразных вещей, а главное, революционные массы, всегда во время грандиозных переворотов отменяющие искусство во имя жизни.

Фурманов — наиболее типичный из представителей этой литературы. Можно сказать, что он — создатель этого жанра в его наиболее чистом виде. Он захватывает не тем, как он пишет, но тем, как он живет и действует, как ни на минуту не замирает его бьющая через край энергия, его неутомимое стремление к цели. В его двух крупнейших работах — «Чапаев» и «Мятеж» нет ничего, что напоминало бы о художественном замысле, о композиции, о фабуле, нет интриги, нет действий и событий, нарочито связанных логической последовательностью. Это — записки, что-то вроде дневника, да и то записки, написанные в хронологическом порядке, едва ли по плану, быть-может, урывками. И, тем не менее, эти книги относятся к художественной литературе. Если вы вовлечены в круговорот изображаемых событий, если автор умеет захватить вас пережитой им опасностью, если вы следите за мгновениями ужасного риска и ждете исхода, затаив дыхание, как ждете развязки какой-нибудь трагедии Шекспира, то едва ли вам придет в голову разрешать сложную проблему о границах искусства и действительности,



---

ломать голову над схоластическими теориями. Если задача искусства — воздействие на чувства читателя, если цель его — будить воображение, волновать душу, заражать пафосом высоких стремлений, направлять сознание к путям плодотворным и верным, наконец, укреплять волю в направлении, важном и нужном для современности, то «Чапаев» — художественное создание, и критик мог бы даже не задаваться вопросом о том, какими средствами достигает автор этой силы воздействия, узаконены ли они в различных поэтиках и теориях словесности.

Никогда еще содержание не торжествовало так решительно над формой. Едва ли при чтении какого-нибудь произведения бывает приковано внимание так мощно к самой теме, к событиям, а главное, к личности центрального героя. Это — кусок истории, логикой реальных фактов превращенный в возвышенную трагедию. Герои, жизнь которых не нуждается в художественных описаниях, потому что она потрясает тем сильнее, чем более деловым, торопливым и небрежным языком рассказано о ней.

Вот образ Чапаева:

Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие темнорусые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий, нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза.. светлосиние, почти зеленые, быстрые, умные, не мигающие. Лицо матовое, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шашку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зеленой поддевкой брошена на сундук.

В этом описании нет ничего характерного для героя, и, даже больше того, вообще, ничего характерного. Автор точно набросал без разбору все бросившиеся ему в глаза признаки, и важные и неважные, типичные и случайные. Он не стремится произвести никакого впечатления, несмотря на то, что уже предупрежден о неотразимом обаянии легендарного героя, несмотря на то, что он заинтересован в возможно более ярком изображении прославленного командира и потому обшаривает его пронизывающим взглядом, хочет поскорее рассмотреть, «увидеть

в нем все и все понять», — как «темной ночью на фронте шарит прожектор, проникая всюду, все освещая, разгоняя мрак». Удастся ли автору осуществить эту задачу? Не только «Чапаяев», но и все окружающие его тысячи лиц изображены так же, и портреты их попадают в записную книжку автора без распределения света и теней: и Кочнев, «быстрый, легкий, жилистый» в коротенькой телогрейке с коротенькими рукавами, с крошечной шапчонкой на затылке, с ехидным оскалом зубов; и Чеков с широкими, рыжими бровями, пышными, рыжими усами, огромной пастью, выпяченными скулами, отвислой нижней губой, четырехугольным подбородком, парой глаз-углей, крутой, широкой, могучей грудью; и Илья Теткин, заслуженный красногвардеец, маляр по профессии, добродушный, звонкий, всеми любимый, охотник до песен, до игры, до забавы; и невозмутимый Вихорь, лихой кавалерист, опытный командир конных разведчиков, на левой руке без мизинца, что являлось предметом постоянных насмешек со стороны окружающих («Вихорь, ткни его мизинцем»); и шумливый Шмарин в дубленной поддевке, в валенках, зябкий, с хриплым голосом, черноглазый, черноволосый, смуглый; и кучер Аверька с бобровым лицом, осовелыми глазами, носом наподобие луковицы, с обветренными губами в трещинах, с платком, намотанным на шею, и т. д.

### III

Вся повесть — собрание бесконечных мелочей. Не только герои, но и события описаны так же детально, с таким же нагромождением внешних подробностей, с таким же невниманием к их сравнительной ценности. И вот в этой повести, где нет, казалось бы, ни художественного отбора, ни композиции, ни плана, скрыта тайна внутреннего единства, неотразимого, цельного впечатления. Именно потому, что автор не искал единства, что он рассказывал о явлениях в том порядке, в каком они попадались ему на глаза, — именно потому он достигает величайших обобщений, какие только мыслимы для человеческой речи. То, что зовется духом коллектива, настроением массы, пафосом общей задачи — истинная фабула и истинный герой

этого произведения. Кто-то заметил, что героем гауптмановских «Ткачей» является голод. Он — движущая пружина событий, изображенных в знаменитой пьесе немецкого драматурга. Революционный пафос — герой Фурмановского повествования. Чапаев образует нераздельное целое со всем окружающим его миром, который следует мановению его руки, который почти без слов угадывает его предписания, которому эта связь дается легко и естественно, потому что ее источники — вне отдельной человеческой воли, они — в том непреложном и неотвратимом, что зовется объективным развитием истории.

Эту же детализацию видим мы и при описании действий Чапаева. Полуграмотный человек, говорит грубо и отрывисто, приказывает коротко и нередко пускает в ход кулаки. И здесь мелочи, и здесь ничего кричащего, героического, высокого. Но эта манера находится в какой-то совершенной гармонии с навыками и со всем душевным миром окружающих. И по мере развития рассказа становится ясным, что Чапаев — воплощение коллективных устремлений подчиненной ему массы, и самая жестокость его и грубость оправданы каким-то незримым ее мандатом. Вот почему конец повести — гибель Чапаева не поселяет в душе читателя уныния. С формальной точки зрения нельзя не обратить внимания на художественный прием, встречающийся, кажется, впервые именно в этой героической литературе. Я имею в виду развязку. В «Чапаеве», как в «Неделе», «Железном потоке» и ряде других произведений этого типа, то, что мы привыкли называть развязкой, отсутствует. Как будто авторы хотят сказать, что никакие индивидуальные драмы ничего не могут изменить в стремительном движении целого, это целое требует такого напряжения, что ничего не оставляет его участникам для личного. Казалось бы, в повести, целиком посвященной центральному герою, его смертью должен был завершиться и самый рассказ. Чувство читателя, потрясенное трагическим финалом жизни необыкновенной, все время приковывавшей его внимание, глубокое чувство волнения, когда доходим до того места, где, пораженный пулей, Чапаев тонет в мутных волнах Урала, — это чувство мгновенно сменяется новыми впечатлениями более высокого порядка. Некогда оглянуться, некогда задуматься или



приостановиться. Борьба продолжается. Красная армия продолжает делать титанические усилия. Является помощь. Победа, и через несколько дней новое наступление. И в изображении этого эпилога уже ни разу не упомянуто имя Чапаева,—не потому, что бойцы неблагодарны или забывают своих героев, а потому, что возник какой-то новый, раньше невиданный подход к человеческой личности: величие ее, бессмертие — энергия, влитая в движение жизни, никогда не умирающая, участвующая в непрекращающемся никогда процессе видоизменений. Нет лучших путей к увековечиванию личности, как непрерываемый путь борьбы и действия.

Казачи угонялись вспять через те же хутора и станицы, где лишь несколько дней тому назад быстро, быстро спешили от погони красные полки. Теперь они снова шли в наступление, уж на самый Гурьев до берегов Каспийского моря...

Вот и весь памятник, который воздвигнут Чапаеву.

#### IV

Вторая повесть Фурманова «Мятеж» дает, быть-может, еще больше материала словеснику для размышлений на тему о художественном и нехудожественном. Мы назвали это произведение повестью. Но ведь повесть предполагает какой-то стержень, около которого группируются события, какой-то подбор и своеобразное художественное освещение фактов для того, чтобы осуществить художественный замысел. Ведь, еще Тэн учил, а вслед за ним тысячу раз повторяли, что художник берет не все, а отбирает нужное для того, чтобы выявить важную для него основную черту характера или группы явлений. Художественное произведение — изображение типичного.

Где же замысел, где отбор в повествовании Фурманова? В его записную книжку попадает все: и картины экзотической природы между Ташкентом и Верным, и каждая мелочь, встречающаяся на многоверстном пути, и киргизы, и кулаки, и митинговая речь, и опасности боя, и вереницы фигур, из которых иные появляются на мгновение, чтобы мелькнуть, а затем исчезнуть навсегда. Как много кажется здесь лишнего перед лицом

---

традиционной художественности! Как много эпизодического! Сколько вещей и лиц, «не имеющих отношения к основному сюжету»! Зачем перепечатываются все эти приказы с номерами и точными датами, воспроизводятся дословно переговоры по телефону. Как будто нет в этом надобности. И, тем не менее, повторяем снова, повесть производит художественное впечатление.

Мне пришлось услышать от одного военного, которого спросили, в чем заключается идея повести, следующий ответ: «В том, что выполнен приказ». Это неожиданно и могло бы показаться парадоксом, если бы не было произнесено с такой простотой и с такой внутренней убежденностью. Это объяснение—единственно надежный ключ к пониманию художественного значения «Мятежа». Выполнение приказа—в этом тот стержень, вокруг которого группируются все эти с первого взгляда ненужные детали. Напряженная мысль о нем дает единство и смысл всем отдельным моментам, которые, на первый взгляд, как будто ничем не связаны между собою. Художественное единство заменено единством, возникающим в моменты жизни великого сосредоточения воли на одной цели. Человек, захваченный одной мыслью, скованный обстоятельствами и вынужденный во что бы то ни стало притти к поставленной цели, окрашивает особым цветом всякий свой шаг, всякую встречу и свое отношение ко всякому явлению. Именно это приковывает внимание к событиям, изображенным в «Мятеже». Единство «Мятежа»—в преодолении препятствий, в железной воле, стремящейся к победе, в сложной пестроте событий, лиц и интересов, в которую врывается эта воля, приводя все в новые соотношения, подчиняя все единой задаче. Вот почему все, что попадает на пути, попадает не случайно. Это—сама жизнь: и косные силы, упорно не поддающиеся ломке, тяжелые гири, повисающие на крыльях всякого устремления к новой жизни, и силы революционные, естественно отзывающиеся на призыв к ней.

Сюжет «Мятежа» несложен. Это—история восстания нескольких батальонов на далекой окраине, отделенных от своего штаба сотнями верст, по которым с трудом приходится пробиваться на лошадях. Повстанцы заняли крепость, и представи-

телям власти приходится вести сложную игру, чтобы не пасть жертвой мятежников; необходимо поддерживать престиж власти и в то же время допускать неповиновение. Один неудачный шаг, одно опрометчивое слово может привести к кровопролитию и к непоправимым последствиям. Перед нами сложная система искусной агитации, ведущая к расслоению гарнизона, быстрые переходы от угроз к уступкам и т. п. Бывают моменты, рассказанные просто, но следишь за ними, затаив дыхание. Таков, например, момент, когда безоружному автору приходится выступать перед многотысячной вооруженной толпой, сбившейся, гудящей, ревушей, словно стадо голодных зверей. У каждого свой зуб против советской власти: кто за то, что от дома против воли послали на фронт, кто за разверстку, кто хочет отомстить трибуналу, кого не обули вс-время, кому помешали хашнуть, кому не люб сам новый строй... Взволнованная рябь голов, лица ближайших рядов, чужие, злые, зловещие... Как ее взять в руки, мятежную толпу? Как построить агитационную речь? Мысль работает, необходимо выйти, как сильному, и сразу дать тон собранию: не думайте, мол, что к вам сюда пришли несчастные и одинокие, беспомощные представители жалкого военсовета, оробевшие. Нет. Пришли делегаты от высшей власти областной, от военсовета, у которого за спиной сила, который вовсе не дрогнул и пришел не в качестве слуги или просителя, а пришел, как учитель, как власть имеющий открыто заявить свою волю, непоколебимую волю военсовета.

Эта борьба между ораторами и враждебной аудиторией принадлежит к числу самых волнующих драматических эпизодов всего повествования. В авторе чувствуется вдохновенный агитатор, мастер своего дела, испытывающий восторг преодоления и победы, превративший эту борьбу в искусство для искусства. Вот несколько правил этой науки:

Не выпускать ни на одно мгновение из-под пытливого взора всю толпу, разом ее наблюдая со всех сторон и во всех проявлениях: говорить—говори, но и слушай чутко разные выкрики, возгласы одобрения или недовольства, моментально учти, отражают ли они мнение большинства или только беспомощные попытки одиночек. Если большинство — ту же натягивай вожжи; если одиночки — парализуй их вначале, сырсыни ядовитой желчью, выключи им глаза,



вырви язык, обезвредь, ослепи, обезглазь, разберись в этом вмиг и, поняв новое состояние толпы, живо равняйся по этому ее состоянию — то ли грозовеющему, то ли опавшему, смягченному, теряющему — чем дальше, тем больше — первоначальную свою остроту. А как только учтешь, поймешь — будь в действии гибок, как пантера, чуток, как мышь. Если нарастает, вот она, близится гроза, чуешь ты ее жаркое близкое дыхание, — зажми крепко сердце, жалом мысли прокладывай путь — не по широкой дороге битвы, а окольными, чуть приметными тропами мелких схваток, ловких поворотов, неожиданных скачков, глубоких острых повреждений, иди — как над ревушими волнами ходят по зыбкому дрожащему мостику, остерегайся, стремись видеть враз кругом: пусть видит голова, пусть видит сердце, весь организм пусть видит и понимает, потому что кратки эти переходные мгновения и в краткости — смертельно опасны. Кто их не понимает, кто в них не владыка — тот гибнет неизбежно. Когда же минуешь страшную полосу, когда чуть задумаются бешеные волны нарастающего гнева толпы, задумаются, приостановятся и глухо гудущей тяжелой зыбью попятятся назад, — смело уходи с потаенных защитных троп, выходи на широкую, на большую дорогу.

Когда после долгой борьбы автор и его товарищи узнали о том, что мятежники решили их расстрелять, они темным, поздним вечером при помощи проводников-киргизов пробрались к четвертому полку и вместе с ним ликвидировали восстание.

Как и повесть о Чапаеве, «Мятеж» — только эпизод, только записки, фактические, деловые, об одном из событий, которыми изобилует гражданская война. И конец «Мятежа» тот же, что и «Чапаева». Все эти драматические эпизоды, опасности, борьба страстей, все это — путь к простой цели:

Полки, которые было надо перебросить из Семиречья, перебросили. Кулачье семиреченское притихло, убедившись, как трудно бороться с Советской властью, как дорого обходится попытка свалить ее с ног.

Вот и все, что осталось от драмы, разыгравшейся на далекой окраине советского государства.

Повести Фурманова, это — Красная армия за работой. От частных, от мелочей, от отдельных моментов, от волнующих

эпизодов мысль поднимается к величию целого, к историческому и мировому. Повесть Малышкина достигает той же цели другими путями. Фурманов находится в гуще борьбы. Он никогда не отходит в сторону и не смотрит на события с отдаления. Когда читаешь повесть Малышкина, то кажется, будто автор поднялся высоко и озирает оттуда бесчисленные фронты и беспредельную советскую равнину. Почти не видно отдельных людей, не видно деталей, но зато четко обозначены силуэты, видны главные линии, и предстает исторический смысл целого. Там мемуары, точная летопись фактов, здесь символическая картина, нарисованная рукой вдохновенного художника.

Сюжет повести — один из величайших подвигов Красной армии, взятие Перекопа, освобождение советской страны от белогвардейских армий.

Путь красным армиям преграждался: на перешейке — Даирской скалой, пересекавшей всю его восьмиверстную ширину, от залива до залива, с сетью проволочных заграждений, пулеметных гнезд и бетонных позиций тяжелых батарей, воздвигнутых французскими инженерами — это делало недоступной обрывающуюся на север, к красным, террасу; перед заволжской армией — проливом; пролив был усилен орудиями противоположного берега и баррикадирован кошмарной громадой взорванного железно-дорожного моста. Взять прямо террасу было невозможно. Армия, атакующая в ярости террасу, — под ураганным огнем артиллерии и пулеметов противника — обратилась бы в груды тел. Исход был или в длительной инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Дули северо-западные ветры; по донесениям агентуры, ветры угнали в море воду из залива, обнажив ложе на много верст. Рипуть массы в обход террасы — по осушенным глубинам — прямо на восточный низменный берег перешейка, проволочить туда же артиллерию, об рушиться паникой, огнем, ста тысячами топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо и камни, — в этом заключался план командующего армией. План, как известно, увенчался успехом, и врангелевские армии были сброшены в море.

В повествовании об этом событии мы не видим фактов, почти нет живых людей, есть «стотысячное». Поэма Малыш-

кина написана так, что непосредственно ощущаешь величественное шествие истории. Его действующие лица только коллективы, но они — частные силы, руководимые непреложным законом, которому все подчинено. С высоты, на которую он поднялся, он видит связи всех вещей, взаимодействие всех сил.

«Армия лежала за курганами, перед черной горбатой скалой, сторожа ее зоркими ползучими постами... Республика, кричащая в аппараты, гул стотысячных орд в стены; это развернутый, но не обрешенный еще удар по скале, по последним армиям противника, сброшенного с материка на полуостров. В штабе армии, где сходились нити стотысячного, за керосиновыми лампами работали ночами, готова удар. Стотысячное двигалось там отраженной тенью по веерообразным маршрутам — на стенах закружля щупальцы в хищный смертельный сдвиг».

Этой картиной открывается поэма. Посты, щупальцы. Армия, сконцентрированная воля страны, — все это расположено на огромном полотне, на котором все переплетено бесчисленными нитями, все грандиозно и важно, как осуществление задачи мирового масштаба. Укрепления страшны, но за укреплениями были «последние», «страна требовала уничтожить последних». Возможен был выбор между длительной инженерной атакой и молниеносным маневром. «Но страна требовала уничтожить последних сейчас. Оставался маневр».

Олицетворение — любимое выразительное средство Малышкина. Он пользуется им, чтобы создать монументальные образы. Вводная картина — фантастическое чудовище, исполинский организм, живущий по свойственным ему законам. Оно, это чудовище, раскинулось по всему пространству бывшей империи, оно протягивает свои лапы к последнему уголку, где еще гнездятся враждебные ему, непокоренные силы. Это стремление к югу, этот стихийный поток изображены автором в величавом стиле «Слова о полку Игореве». В лице Красной армии влечется к югу сама Россия.

И еще севернее — на сотню верст — где в поля, истоптанные и сожженные войной, железными колесами обрывалась Россия — ветер стал серой поземкой по межам, по перелескам, по льдам рек, голым еще и серым — где в стальных мутях свистками и гудками жила узловая станция — кишел народ, мятый, сонный, немый,



---

валялся на полах и на асфальте; на путях стояли эшелоны, груженные от серого кишящего живья, и платформы с орудиями, кухнями, фуражом, понтонами — шли тылы и резервы №... армии на юг, к террасе.

И еще с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные эшелоны, перекошенные от тяжести, вдавливающие рельсы в грунт, с галдежом, скандалами, песнями. С вагонов кричало написанное мелом: «даешь Даир». Эшелоны шли с севера, из России, из городов: в городах были голод и стужа, топили заборами, лабазы с бывшим обилием стояли наглухо забытые, стекла выбиты и запаятинены, базары пусты и безлюдны. Но в голодных и холодных городах все-таки било ключом, кипело, жило и вот изрыгало на юг громадные эшелоны — за хлебом, за теплом, за будущим. С севера великим походом шли города на юг; телами пробить гранитную скалу, за которой страна Даир».

Движение к северу стало невозможным, потому что могучее движение с севера опрокидывало все, что шло вразрез с основной задачей, которой инстинктивно была поглощена страна. Поезда шли только на юг, а паровозы, назначенные на север для того, чтобы разгрузить узловую от скопившихся пассажиров, перехватывались потоком, стремившимся туда, куда направляла история и мысль энергию страны и армии. Ни угрозы, ни упоминания о ревтрибунале и о расстреле, — ничто не могло остановить захвата паровоза, потому что «все шло своим чередом, как хотелось молоту множеств, падающему в неукоснительном и чудовищном ударе на юг».

## VI

Художественная манера автора, его выразительные средства дают возможность ему в нескольких штрихах выщукло представить самый глубинный смысл событий. Человеческий поток тянется к югу не только потому, что инстинкт подсказывает путь спасения и победы. За этим стремлением скрыто нечто более значительное, начало решительной схватки двух миров, непримиримых между собою. Автор пользуется все время фигурой контраста. Эти два мира разделены Даирскими укреплениями. На север от них — нищета и голод, в избах набивались вповалку до смрада. В колеблющейся тусклости коптилок

видно было, как валялись по лавкам, по полу, едва прикрытом соломой, стояли, сбиваясь головами, у коптилок, выворачивая белье и ища насекомых. Между изб пылали костры; и там сидели и лежали, варили хлебово, ели и тут же впотемках присаживались испражняться; и вдоль улиц еще и еще горели костры, гадели распертые живьем избы, и смрадный чад сапог, пота ног, желудочных газов полз из двери. Но «это было становье орд, идущих завоевать прекрасные века». Нищета, сильная своей исторической миссией освобождения человечества.

Иное в Даире. И там был незабываемый вечер. Он вставал бриллиантово-павлиньим заревом празднеств, он хотел просиять в героические пути всеми радугами безумий и нег. Музыки оркестров опевали вечер; бежали токи толп; женские нежные глаза покоренно раскрывались юным — в светах мчащихся улиц, в качаньих бульварных аллей. В прощальных кликах приветствий, любопытств, ласк, юные проходили по асфальтам, надменно волоча зеркальные палаши за собой; в вечере юных была красота славы и убийств. И шла ночь; во мраке гудело море неотвратимым и глухим роком; и шла ночь упоений и тоски. Горя хрустальными глазами, метеорами мчались авто — через гирлянды пылающих перспектив во влажные ветры полуостровов, — с повторенными в море огнями ресторанов (так скрипка звенит откликом щемящего разгула...), в свистящий плеск ветвей и парков.

Но сила контраста не в этих картинных противопоставлениях нищеты и богатства, не в этих противоположностях, так сказать, бытового характера. Сила их в проникновенности автора, в его способности видеть огромное в малом, читать повесть веков прошлых и устремления сегодняшнего дня в глазах идущих, слышать голос истории в топоте их ног. Реальные картины для него — только материал для символов, для олицетворений. Трудно вдохновеннее выразить и особенности столкнувшихся сил, и смысл их борьбы, как в этой фразе: «у красных были множества; множествами надлежало раздавить и мстительное упорство последних, и хитрость культур». Сила автора — в том, что он умеет в кабинетах, в полузакрытых упоенных глазах, в объятиях последней ночи видеть «закаты гаснущих, уходящих

веков», что ему открыта судорожная тревога, не осознанная теми, чью душу она волнует, что во всех этих оргиях, во всем этом ликовании по южную сторону террасы он слышит незаглушенный вопрос: «а завтра?», что из всех военных речей там, на юге, он подслушал только фразу, обращенную к конному корпусу «мертвецов генерала Оборовича», к самому надежному корпусу: «идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию». Автор умеет выбрать те несколько штрихов, которые становятся символами, в которых воплощена зловещая безнадежность «последних», которые являются просветами и в прошлое и в будущее, озаряют корни и причины предстоящей гибели дела по южную сторону баррикады. И иными глазами смотрит и прошлое, и настоящее из слов, звучащих здесь на севере перед боем и после победы, и из тех глаз, которые сверкают здесь.

«Без шапки косматый черно-бородый, яростный кричал в поле, в толпы, в бескрайний ветреный день о последних черных силах, о солнечных рубежах, за которыми счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь; кричал о подвиге им, подошвами американских ботов растоптавшим Россию».

И по-иному пели трубы, и тысячи ног били в песок, «в пень фанфар шли упоенные на крыльях сказок о прекрасных веках».

С двух различных сторон подошли к Красной армии два писателя. Один ни разу не вышел из гуши ее, другой поднялся на высоты обобщающей фантазии. Один брал то, что попадалось под руку, другой искал целого, больших контуров, вычерченных в своей идее силуэтов. И одинаковы итоги. И там и здесь встает в своем историческом значении вооруженная сила революции, утвердившая ее волю на пространстве шестой части земного шара.



## СЕРАФИМОВИЧ. НОВИКОВ

Два писателя, когда-то рядом сидевшие на литературных «средах». А теперь как-то странно сопоставить их имена. Когда-то, в глубокой тьме царского режима, где все кошки казались серы, они были просто прогрессивными писателями. Ведь, в те времена этим расплывчатым термином определялось великое разнообразие самых несходных идей, чувств и настроений.

С началом революции они пошли по разным путям: один с первых же дней Октября примкнул к нему бесповоротно, окончательно покинул круги интеллигенции, среди которой и раньше чувствовал себя не по себе, ушел скитаться по фабрикам, фронтам. Другой остался в недрах до-революционной литературы, среди тонко чувствующих и мыслящих. И вот теперь, пережив каждый по-своему, великие потрясения, они как-то неожиданно подошли друг к другу.

Красная армия сблизила писателя пролетарского и писателя глубоко интеллигентского. Красная армия—та вершина, перед которой с изумлением останавливается все чуткое, все, что способно вдохновиться величием, с какими бы разнообразными чувствами и воззрениями ни приближались к этой вершине люди разных психических организаций и разного социального происхождения.

Серафимович написал свой «Железный поток», быть-может, наиболее грандиозное полотно из всех картин, рисующих подвиги этих лет. Новиков опубликовал небольшую повесть «Товарищ из Тулы». Это — крошечный эпизод, но исполненный глубокого трагизма. У сурового эпического поэта, железные

---

массы, это — неудержимый поток людей, в своем движении осуществляющих веления некоего непреложного, неумолимого исторического закона. У нежного лирика смысл современных событий раскрывается в интимных переживаниях нескольких сложных и тонких натур.

Серафимович подкупает суровой цельностью своей личности. Он защищен против всяких воспоминаний, против традиции. О нем нельзя сказать даже, что он ненавидит прошлое. Он просто не воспринимает его, не видит, оно отскакивает от него при соприкосновении с ним. Если оно врывается в ряды тех, кто железным потоком стремится к новой жизни, он отбрасывает с раздражением эти обломки, еще попадающиеся на победоносном пути революционной армии. Иное дело — И. А. Новиков. Для него живы воспоминания. Еще не утратили своего обаяния образы, возникающие в старинных усадьбах, — то, лучшее, что было в отошедшей культуре, что поэтическим покровом одели наши великие писатели. Для него не враги, а целый мир чувств и настроений — «княжеский дом, львы у подъезда, ливреи, карета с гербом, родословное дерево, запахи пудры, духов, разогретого воска (лощенный паркет) — и в лошном паркете отображения золотом шитых мундиров», и даже бал в «благородном собрании», люстры и свет и, в особенности, после бала мечтательная девушка с босыми ногами у окна, в рубашке, с холодеющими коленками, с крестиком на тонкой цепочке, с той неудовлетворенностью, смутными порывами, которые нам так знакомы по творениям Тургенева и Чехова.

И

Так различны эти два писателя, но оба встретились, когда подошли к Красной армии.

Правда, Серафимович исходит от нее и ее глазами и глазами пролетариата глядит он на весь мир; правда, Новиков подошел к ней с жадным вниманием художника-интеллигента, в своей неопределенной гуманной любви к миру заносащего в альбом все необыкновенное, что попадается на пути. Различны и сюжеты, в зависимости от различных художественных темперамен-

---

тов. Эпопея Серафимовича «Железный поток», это новый «Анабазис», перед которым тускнеет отступление греческого отряда, прославленное Ксенофонтom. Здесь увековечен эпизод, не менее волнующий, — история армии, как упомянуто выше, вышедшей с Таманского полуострова, прошедшей сотни верст среди неодолимых препятствий, среди враждебного казачьего моря и, в конце концов, соединившейся с большевистскими армиями. Порою эта современная повесть кажется старинной былиной времени Сиды или Нибелунгов. Самая грубость ее исполнена высокой поэзией. В самой простоте ее — ее сложность. Нет надобности в прикрасах там, где сама обнаженность является красотой, где выразительность дается самой природой. Крылатые слова солдат, баб и казаков, которыми сверкает эта поэма, — материал столь же драгоценный для этнографа, как и увлекательный для исследователя. Автор передает говоры и диалекты этого многотысячного собрания «времен, наречий, состояний», и достигает несравненной силы впечатления.

Эти тысячи оборванных солдат, груженные повозки, бабы, детские лица, брички, фаэтоны, коляски, фураж, хлеб, пушки, пулеметы, винтовки, штыки, лошади, человеческие страсти, зависть, недоверие, усталость, шкурничество и героизм, раздоры, агитация эсеров, — вся эта пестрота, все стянуто какой-то гигантского размера петлей и направляется по единому руслу, имеет свою какую-то чудовищную равнодействующую. Все идет к северу, что бы ни понадалось на пути, что бы ни пыталось остановить неуправляемый поток. Ползет эта циклоническая змея. Ползет и тогда, когда с немецкого броненосца падают снаряды, тщетно пытающиеся удержать эти массы людей. Быстро смыкаются ряды и заполняют пустоту, образовавшуюся на месте, где группы товарищей вырваны из строя. И тогда, когда гибнут усталые и голодные, на мгновение оглянутся остальные, остановятся, и «вдоль шоссе все идут и идут, спотыкаясь, падая, поднимаясь или оставаясь белеть неподвижно на обочине». И с изумлением смотрят изредка люди с лопатами в уцелевших виноградниках:

Кто они, откуда они, куда так безостановочно идут, устало шмыгая руками. Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные.



изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть, без отдыха, и лошади опустили морды. Идут без конца, мотая руками, идут солдаты, и бесчисленно-остро колышатся штыки. А уж солдате куда выше гор, и земля наливается зноем. И на блеск моря больно смотреть. Час, два, пять — все идут и идут. Люди стали шататься, лошади останавливаются...

И, тем не менее, нет перерыва в этом неудержимом стремлении к северу, туда, где ждут свои.

Серафимовичу легко дается изображение органического единства этих масс. Он не размышляет над ними и над их героизмом. Он один из идущих. Он действует в их рядах, он сам во власти той стихии, которая ведет эти массы к неизбежной цели. Самое сильное в его поэзии, это — то, что крайнему интеллектуализму всех видов он противопоставил могущество звериных инстинктов и звериной энергии, как определяющую первопричину всех явлений жизни, привнес сознание бытию, а не бытие вздернул на дыбы сознания.

В этом смысле он постиг самое глубинное революции, а вместе с тем и ее воплощения — Красной армии.

Ибо революция, эта — пересмотр предшествующей цивилизации. Это — хитросплетения веков, представшие перед самым страшным судом, судом пробудившегося инстинкта и непосредственных естественных запросов человека.

### III

Его Кожух — железный вождь с каменным лицом, укротитель тысячеголового чудовища, — единственный в своем роде образ в мировой литературе в качестве воплощения коллективных стремлений и коллективной воли. Он могуч этим инстинктивным знанием массы. Это — то первозданное, что роднит его с ней. И когда возникают мятежи против него, и когда ползут слухи об измене, и когда его приказы кажутся неисполнимыми, и даже тогда, когда на него готовы броситься, и кажется, будто самая жизнь его висит на волоске, — он остается единственной силой, за которой двинется все, как бегут волки за своим вожаком, как безошибочно движение птичьей стаи, потому что единство,

этой массы скреплено скрепами, более сильными, чем логика, рассуждение, доводы сознания, потому что революция движет этой массой, а в это время инстинкт указывает самый верный путь, а Кожух — воплощение этого инстинкта.

В повести есть замечательная сцена, позволяющая понять природу этой власти Кожуха над сотысячной массой, которая то готова поднять на штыки своего вождя, то повинуется ему, как ребенок. После знаменитого маневра, спасшего армию от смертельной опасности, изголодавшиеся, оборванные солдаты бросились грабить захваченный город. Возмущенный Кожух выстроил армию и обозвал их разбойниками. Стояла такая тишина, напряжение, «что вот лопнет». А ржавое железо, ломаясь, гремело: «Я, командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог каждому, кто взял хоть нитку».

И дальше следует такая сцена:

Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаза; он был отрепан, штаны висели ключьями, как блин, отвисла грязная соломенная шляпа:

— У кога хочь тропки есть награбленного, три шага вперед.

Земля глухо и дружно: раз, два, три. Немного осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые, кто во что горазд.

— Що взято у городе, пойдет в общий котел, нашим же детям и бабам. Кладите на землю, кто що взял. Все.

Вся передняя шеренга шевельнулась, и стала класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмальные рубахи, дамские кофточки, лифчики, сложили на земле кучками и стояли голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны, и тоже стоял костлявый, голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух подошел к фланговому.

— Лягай.

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в дамские панталоны, и солнце жгло ему голый зад.

Кожух ржavo закричал:

— Лягайте все.

И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шума буйной ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «продал... пропил нас»? Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что вознесла его, когда добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна — он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: хлопцы, завертайте назад до козаков, до офицеров, — его бы подняли на штыки.

И опять ржавый Кожухов голос разнесся над лежавшими:  
— Одевайтесь.

Все поднялись и стали одеваться в крахмаленные рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучку розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.

#### IV

Этот отрывок — ценный материал для исследователя проблемы вождя и массы, героя и толпы. Это — сочетание в одном лице и неограниченной власти и безусловного подчинения общей цели. Эта власть основана на знании этой цели. Эта власть не знает пределов, пока она служит задачам целого, она теряет свою силу и низвергается, как только вздумает пойти против этого целого. Они покорно лежат, потому что в требовании Кожуха инстинктом чувствуют соответствие своим интересам, они поднимут его на штыки, как только он вздумает использовать свою власть во вред этим интересам. История Кожуха, это — история действительно революционного вождя наших дней. За ним тянется его жизнь длинной косою тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Он кость от кости отрепанной босой орды, той орды «синогородних», пришлых, той казацкой бедноты, на спину которой село богатое казачество. Эта тень — самая обыкновенная — степная, трудовая, голодная, серая, безграмотная, темная. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как измученная кляча, — куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец — вековечный казачий батрак, жилы вытянул, да сколько ни бейся, все равно, — ни кола, ни двора.



---

Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Потом сметливый, расторопный мальчишка у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте выучился. Далее, война. Он — великодушный пулеметчик. Прославился подвигами, за невиданную храбрость послан в школу прапорщиков. С бычьим упорством одолевает учебу и все-таки срезался. Офицеры-преподаватели издевались: мужик, тупая скотина, захотел в офицеры. Он ненавидел их молча, стиснув зубы, его возвратили в полк, как неспособного. И снова шрашнели, тысячи смертей, кровь, стоны, пулеметы. Убыль в офицерах, нехватка заставляет снова послать в школу прапорщиков Кожуха, которому приходится командовать крупными отрядами, фактически исполнять обязанности офицера и который ни разу не знал поражения. Военную подготовку заменяло ему единство с массой, ведь для солдат он свой, земляной, такой же хлебобоб, как они. И они беззаветно идут за ним, за этим корявым с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. И снова мучительная работа над учебой, над десятичными дробями: труднее усвоить их, чем идти на смерть под пулеметным огнем. Снова покатываются офицеры над мужиком-растопырой, снова возвращение в полк за неспособностью. И тот же результат в третий раз, пока, наконец, штаб не приказывает выпустить его прапорщиком: даже в те времена победил своим упорством, своей силой стену предрассудков и препятствий Кожух. Но не радость были ему погоны. Офицерство сторонилось «мужика», а от своих как будто что-то отделило.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, — точно треснуло пространство, и разинулось невиданно-чудовищное, — невиданное, но всегда жившее тайно, в тайниках, в глубине, не называемое, но когда сделалось явным, — простое, ясное, неизбежное. Приехали люди обыкновенные, с худыми, желтыми фабричными лицами и стали раздирать эту треснувшую расщелину, все шире и шире, раскрывая ее; забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмущившееся вековое рабство. Кожух закинул погоны, и хотя словами не умел ска-

зять — классы и классовая борьба, но схватил ощущением, чувством, почуял это, когда слушал из уст рабочих. С украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь следы погон и послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был. И переполнился одним ощущением, одной упорной мыслью.

Далось ему это без труда, легко, как-то естественно, потому что только великие народные революции рождают людей, так без остатка растворяющихся в массах. Это — образ исключительный. Мы не видим тех сторон его жизни, которые отделяют его от целого, образуют его индивидуальный мир. В нем все принадлежит армии, он дышит ее дыханием, он возбужден ее возбуждением, он насторожен ее тревогой, — в этом его личность, его захватывающая сила.

Иной сюжет у Новикова. «Товарищ из Тулы» — небольшая повесть, в которой сплетаются невероятнейшие события. Если бы она касалась не нашего времени, где действительность опережает самую необузданную фантазию, то могла бы показаться искусственной.

Небольшому отряду нужно овладеть чрезвычайно важным стратегическим пунктом. Во главе отряда «товарищ из Тулы». Он поручает дело «Хохолку», которого никто не знает под другим именем. Хохолок — сын богатой аристократической семьи. Странными чувствами связан он с своей сестрой Дашей. Их мать — княгиня, но они от разных отцов. Он — законный сын, но никто не знает отца Даши, и таинственным романтическим ореолом окружена история «измены» ее матери. Даша и Хохолок сговариваются о предательстве. Они заманивают отряд в свой старый наследственный замок, где революция сохранила прежним владельцам только скромный угол. Замок с сорока комнатами, крепкой круглой башней, с витой уступами каменистой лестницей, с вековым дедовским парком, давно потерявшим свои старо-панские чары, потому что он изуродован рубкой, снарядами, озорством, и осколки от статуй в лунную

ночь белеют, как кости, и ветер свистит по диким прогалинам. Сюда заманили отряд Хохолок и Даша. «Товарищ из Тулы» убил предателя Хохолка и следует за Дашей, которая обещает ему выпустить отряд. В комнате Даши разыгрывается сцена, напоминающая фантастические развязки из Гюго. По фотографической карточке, находящейся в этой комнате, «товарищ из Тулы» узнает в Даше свою дочь. Она хочет бежать вместе с ним; он спускается по веревке с ее окна. Но странная девушка перерезывает ее, и ее отец повисает на толстом суку корявого вяза. Утром Даша видит, как хлещет в злобе мертвое тело офицер, слышит, как сухо поскрипывает сук. И когда на режущий крик обернулся офицер, увидел он, как по желтому платью девушки, пересекая черные полосы, хлынула алая кровь и как из руки ее выскользнул нож.

Повесть эта звучит каким-то диссонансом среди суровой поэзии, которую вызвала к жизни гражданская война. Чем-то далеким веет от картин детства Даши, чем-то забытым: еще не настало время отнестись к этой культуре, как к истории, как к экзотике, которая всегда влечет независимо от мыслей и чувств, в ней отраженных. Еще слишком свежи обиды, еще слишком памятны унижения и слезы усладебной эпохи, чтобы любоваться ее красотой.

Но тем более симптоматично, что писатель, воспитанный в старых настроениях, один из тех писателей, которые не любят вмешивать политику в литературу и еще верят в автономные эстетические законы, что этот писатель понял революционера-воина. «Товарищ из Тулы» — образ, который не затеряется в веренице типов, выведенных русской художественной литературой военного времени.

В сопоставлении двух миров у Новикова нет возвеличения одного перед другим. Художник объективен, но самая логика истории такова, что в его изображении эти два мира сталкиваются, как непреклонная воля и мечтательная рефлексия, как стихийная неизбежность и безнадежное сопротивление.

«Товарищ из Тулы» — тот же Кожух, тот же Чапаев. Почти нет слов, есть только действия. Вот его образ:



Детства и вообще, как если бы не было. Сразу — завод; нынче — бой; завтра — постройка нового мира. Расчет и учет; тело и ум — нет малейшей невязки: упруго, спокойно, размеренно, сильно. Ученые спорят: кто раб и кто господин; он этой задачи не знал: машина и руки в работе, мозг и мотор — все это было одно. Розовое и маленькое тельце... Камень, пожалуй, и тот усмехнулся бы. Никогда этого не было. Со стороны поглядеть, просто где-то лежал коренастый, приземистый; узлы на руках — как под корой огромные выплавки у огромной березы; только подпилком разве возьмет; одеяние из кожи — как вторая природная кожа, или чехол для машины; глаз серый, стальной; без выражения, — нет, но всегда с одним выражением. Как если бы под тяжелым давлением был отлит человек и так лежал совершенно готовый, и вот — сразу в действии. Рабочий станок или винтовка, или чертеж — разницы не было.

«Товарищ из Тулы» — образ, отлитый рукой опытного мастера, и художественная ценность его не меньше от того, что автор смотрит на него как-то со стороны, как будто пораженный этим новым, еще невиданным в мире явлением, что для него есть что-то экзотическое в этой фигуре. И не менее значительны вытекающие из этой повести выводы о той борьбе, которая возникла в мире, борьбе, которая выходит за пределы столкновения между несходными формами хозяйственной структуры, является борьбой между двумя типами человечества: дряхлыми мечтательными классами, воспитанными в праздности, и новым, могучим, трудящимся и строящимся человечеством.

Два писателя с разными унастроениями одними глазами взглянули на одно и то же явление. Героизм Красной армии одерживает победы не только на военных фронтах. Он торжествует и на фронте психологическом, втягивая в орбиту нового сознания и художника-интеллигента, способного откликнуться на голос современности.

## ГЛАДКОВ. АРОСЕВ

### I

Эпическая поэзия, воплотившая трагизм гражданской войны, упрощенно, как и древняя былинная поэзия, подходит к событиям и к людям. Это — мир действий, а не размышлений. Здесь некогда заглядывать ни в свою собственную, ни в чужую душу. Здесь люди — исполнители слепой воли истории. В этой поэзии нет места рефлексии и колебаниям. События требуют немедленных решений. Здесь убийства — акты, к которым невозможно подходить с обычными нравственными мерилami. Здесь есть только один моральный критерий: преступно и подлежит уничтожению все то, что мешает достижению победы. Морально и прекрасно все, что ей содействует.

В этой литературе по большей части мало психологии. Во внутренний мир героя автор проникает постольку, поскольку дело касается волевой активистской стихии этого героя. В этой поэзии мало лирики. Если герои разговаривают, то только для того, чтобы отдавать приказы или высказывать решения. Споры и рассуждения на отвлеченную тему, мысли о вечности, о так-называемых «проклятых вопросах», — все это отсутствует в многоцветной поэзии эпохи гражданской войны. Она многоцветна и многозвучна только потому, что в это время мир человеческих действий сверкал более ослепительной пестротой, чем мир внутренних переживаний, о котором так волшебнио рассказывали перед войной и революцией Уайльды и Гамсуны на западе, Бальмонты и Блоки у нас в России.

В суровые годы войны все мечтательное, все размышляющее и анализирующее, все колеблющееся и жалостливое как-то

поблекло, стало неэстетичным, и перестало привлекать взор поэта. Зато литература о Красной армии показала, какими прекрасными и влекущими стали теперь природы организующие, строящие, утверждающие свою волю и свой план жизни. Могла ли, однако, война убить все традиции, оборвать все нити, связующие старое с новым? Ведь, интеллигент, который ведет свое происхождение от Достоевского и Толстого и еще раньше, от идеалистов сороковых годов, — этот интеллигент, ведь, тоже был в армии, в значительной доле принимал участие в общем деле. Сюда, на поле сражения он принес привычку к рефлексии свою думу о «проклятых вопросах», привычные муки, державшие его всегда среди нравственных противоречий. А трагизм гражданской войны дает благодарную пищу для таких сюжетов. Война ставит друг против друга друзей и братьев во враждебных армиях. Не нужно искать у романтических поэтов того, что является обыденным фактом в гражданской войне, где солдату нередко приходится расстреливать отца любимой девушки или стрелять в близкого человека. Такая война создает не только героев с железным закалом духа, но и людей, погибающих в аду нравственных конфликтов, раздирающих их душу.

Среди пролетарских бытописателей кровавых событий мы находим немало изобразителей этого душевного ада, через который пришлось пройти людям тонких чувств и мыслей, людям болезненно чуткой совести, но недостаточно сильной воли, людям, не выдержавшим окаменяющего взгляда революционной Горгоны.

Среди них первое место принадлежит, несомненно, Федору Гладкову. Он почти с художественным сладострастием Достоевского терзает самые болезненные раны человеческой души, заглядывает в самые скрытые извилины внутреннего мира не непреклонных, а страдающих, замученных анализом и рефлексией, тех, кто хочет и кому не уйти от так называемых вечных вопросов.

Как они похожи, эти биографии рабочих поэтов, поэтов-революционеров, прошедших поучительную школу жизни! Его, как и его товарищей, судьба бросала с одного конца России на другой. Родился он в бедной крестьянской семье. С 9 лет



---

на чужой стороне: то на рыболовных волжских и каспийских ватагах, то на сельских работах на Кавказе. Далее «мальчик» в аптекарском магазине, «мальчик» в литографии, «мальчик» в типографии. В 1901 году 18 лет от роду окончил городскую школу. Лишения, голод, больница, учительство в глухой деревушке, участие в революционных кружках, арест, трехгодичная ссылка на Лене. Наконец, Кубань, где активно провел всю гражданскую войну в качестве коммуниста. Любопытно, что в своей автобиографии Гладков говорит, что он «опьянялся Лермонтовым, Достоевским и Толстым, равнодушным остался к Пушкину и Гоголю». Эти его юные, литературные симпатии чувствуются и в его творчестве. В нем есть склонность к лермонтовскому титанизму и демонизму, к надрыву Достоевского и к моральным исканиям Толстого. В нем нет прямолинейности других бытописателей суровой эпохи.

II

В центре повестей Гладкова стоит личность. Коллективы, народные массы, непреложные законы истории, — на заднем фоне. Личность, перетираемая колесом истории, личность, страдающая, мыслящая и без конца копающаяся в своих собственных глубинах, доводящая себя до иступления противоречиями, рождающимися в ее собственных недрах, такова излюбленная тема Гладкова. И когда личное сталкивается с коллективным, когда обе стихии ударяются одна о другую, вызывая фантастические душевные потрясения, из них не родится гармония, как у Фурманова и Серафимовича, между ними нет примирения, а есть доподлинная трагедия, — истерзанная в борьбе душа, расплачивающаяся неуголимыми муками за отступление от мирового морального закона. Несомненно, что Федор Гладков, автор пьес «Бурелом» и «Ватага», — драматург по призванию. И в свои повествования он вносит глубокий драматизм. Центр его внимания — не массовые движения, а личные драмы, разыгрывающиеся на фоне гражданской войны. В его героях нет той простоты воина, которая заставляет человека повиноваться требованиям истории, следуя

непосредственному социальному инстинкту, выполнять свой долг без рассуждений, без анализа, ослабляющего волю. В его героях много гамлетизма, и они, подобно датскому принцу, готовы кричать о распаде всего мироздания и скорбеть о том, что их, слабых, судьба призвала связать разрывающиеся нити вселенной.

Этой теме посвящена повесть Гладкова «Огненный конь», напечатанная в сборнике «Пучина». Это, — несомненно, одно из самых глубоких произведений военной эпохи, психологический роман, взрывающий со дна человеческой души залежи сомнений и мыслей, казалось, похороненных неотложными требованиями минуты.

Самый сюжет повести необыкновенен среди других произведений из эпохи гражданской войны. Это — не только выполнение боевой задачи, не просто столкновение между двумя армиями. Это — борьба более страшная, между двумя душевными ураганами, несущимися навстречу друг другу.

Гмыря и Андрей Гузий прикованы друг к другу какими-то таинственными цепями. Андрей Гузий — войсковой старшина, Гмыря — его друг детства. Вместе росли, вместе были на войне. Был болен Андрей и лежал в лазарете, Гмыря сидел около него и не спал ночей, таскал на себе за нуждой и кормил, как ребенка. И были они там похожи на родных братьев, но Андрей был офицер и казак, а Гмыря — рядовой солдат. Уже там во время империалистической войны иногда, когда оставались одни, сходились в своих взглядах. Не мог Андрей Гузий «видеть мерзавцев, грабителей и убийц», которые «ограбили и умучили солдата», а Гмыря кричал: «Не немец им враг, а бедный люд... Пьют кровь бедного люда». Но классовое различие сказывалось в том, что Гузий сдерживался, считал нехорошими такие разговоры, считал нужным делать свое дело, а Гмыря звал к бунту.

Так росли они друзьями. Был случай, когда Гмыря, раненый, лежал при дороге и выл о помощи. Его отряд попал в засаду. Его расстреливали в упор, и вот под зыкающими пулями подполз к нему Андрей, взвалил на спину и пополз обратно к своим.

---

После революции отношения между двумя друзьями стали странными и загадочными. Чувствовал иногда Гмыря, что с ненавистью взглядывал на него через плечо Андрей, не было между ними доверия, и по ночам таинственная тень бродила и пряталась возле дома бывшего офицера Гузия. То Гмыря следил за ним с тех пор, как просто и незаметно пришла в станицу Советская власть и утвердилась в ней. Комиссарами были выбраны Гмыря, Гузий и Глушков. Когда Корнилов подошел близко к станице, Гмыря настоял, чтобы Гузий отправился против корниловских отрядов, — тот самый Гузий, за которым он следил и которому не доверял. Ни Гмыря, ни Глушков не верили Андрею, а, между тем, Гмыря спокойно отправил его туда, где он мог совершить страшное предательство и погубить все дело. Гмыря оказался прав. Храбрый и опытный офицер явился во-время, вдохновил свои части и разбил врага. Если бы не Андрей, быть бы Корнилову в станице.

И далее целый ряд тех противоречий, которые так знакомы нам по Достоевскому и Леониду Андрееву. Андрей Гузий, спасший большевиков от смертельной опасности, сам же поднимает против них восстание и принимает личное участие в жестокой расправе над захваченными коммунистами. Гмыря ликвидирует восстание. Он дает уйти Андрею для того, чтобы захватить его на квартире. Сам арестовывает его. Он не позволяет коснуться его солдатам, когда они хотят самосудом расправиться с Андреем. Он рискует при этом не раз своей собственной жизнью. Он сам ведет его на смерть. И когда, пользуясь его отлучкой, конвойные в пути избивают Андрея до полусмерти, он бережно доводит его до места назначения. Но там приходит в ярость в разговоре с Андреем и бросается его душить. Наконец, когда конвойный убивает Андрея и его труп выбрасывают из вагона, Гмыря бросается вслед за ним, но, спасенный, благодаря счастливой случайности, идет продолжать борьбу за революцию.

Даже по внешним приемам повесть эта напоминает предреволюционное прошлое. Достаточно привести часто повторяющиеся фразы, начинающиеся с «и», — прием, который ввел или, по крайней мере, утвердил Леонид Андреев.



И кругом была тишина, разбухшая от сырости и жуткая от тревоги... и в глубине хат росла звериная вражда, и к поясам пришивались кинжалы.

И ослабела сразу и затихла, надорванная непосильной борьбой за кровь... И заплакала молча и горько.

### III

Гладков применяет в своей повести свойственный символизму прием передачи коллективных настроений, нарастающей злобешней тревоги, усиливающейся бури — при помощи олицетворений и введения неопределенных душевных переживаний:

Скучали и ждали страшного. Был галдеж и чуткий сон. Тревога и жуткое предчувствие насыщало невидимо коридоры и темные комнаты. Еще тревожнее и страшнее была ночная тишина на улице. Не человеческое жилье, а кладбище: ни огня, ни голосов, ни шороха нечесанных домовых в закутах. Во мраке и тишине стонал ужас, и пауком таилась звериная тайна мести и самосуда. Чувалась утром она и страхом двела во тьме души.

Эти приемы, как и столь знакомые нам «слушал тьму» «смотрел невидящими глазами» и т. п., — все это было излюбленными выразительными средствами предреволюционной литературы. Тогда они служили определенной цели. Тогда, когда звинченность и болезненные ощущения интеллигенции достигли крайнего напряжения, этими приемами тогдашняя поэзия хотела сказать, что внутренняя жизнь личности, глубоко скрытая, не выражающаяся во вне, передается от души к душе в неясных намеках, в непосредственном восприятии, а не в отчетливой речи, которая служит передачей внешнего, т. е. чего-то второстепенного с точки зрения болезненно-чуткого индивидуализма. Тогдашняя литература шла под знаком метерлинковского афоризма: «слова и жесты больше ничего не выражают, все решается простым присутствием». Это было понятно в эпоху, когда надрыв, все виды экстазов и экзальтаций, эротика и фантастика были главным содержанием поэзии. Гладков, несомненно, в нашу эпоху господства волевой стихии многое перенес из тех чуждых современности настроений. Торжествующий тип нашего времени не будет ставить вопросов о двух правдах, как делает

---

это даже Гмыря, идущий твердо по избранному пути. Не будет плакать в истерике, как плачет Гмыря, и едва ли будет заниматься рассуждениями, как делает это комиссар Глоба, непреклонный коммунист:

Ты должен знать, земнородный, что человек, это — трагедия...  
А когда он делает революцию, трагедия становится всечеловеческой...  
И тогда очеловечивается вся земля... как мать...

Но тем глубже и значительнее это произведение. Бросить героя с уклоном в Достоевщину в гущу современной борьбы, — такая любопытная художественная задача. Показать, как и эти натуры здесь, в среде Красной армии подчиняют свой болезненный внутренний мир общему делу, как великое историческое движение захватывает в свою орбиту даже анархический мир ощущений, оздоравливает натуры болезненные, взрывчатые и истерические, — вот какую задачу, сознательно или бессознательно, стремится разрешить автор «Огненного коня». Волнующая тема повести, это — борьба между Андреем и Гмырей. Какой-нибудь Чапаев или Кожух отнесся бы к делу просто. Раздавить врага, уничтожить его физическое бытие — к этому сводит свою задачу настоящий воин. Гмыре мало этого. Ему нужно было овладеть душой Андрея. Довести его до унижительной капитуляции сознания. Он переживает великую внутреннюю муку от ощущения, что чуждая и враждебная ему стихия живет в любимом человеке, в том, с кем он связан годами. Он «будет бить пана Гузия своей рукой... предаст его смерти со вкусом... от ласки лишит его жизни... и будет ему эта ласка хуже мук...». То, что кажется противоречием в поступках Гмыри — его непоследовательность, его порывы то нежности, то злобы по отношению к Андрею, все это имеет свою внутреннюю логику.

Внутренняя победа, к которой стремится Гмыря, является объяснением его противоречивых действий. Ему нужно довести Андрея до бессилия, нужно уличить «доброе войку» в трусости, отыскать ту ахиллесову пяту, уязвимое место, подстеречь момент слабости, чтобы видеть, как не устоял и дрогнул этот человек, идущий за своей правдой, тоже по-своему непреклонный. Правду эту нужно унижить и растоптать, увидеть, что нельзя на нее опереться. Эта борьба не внешних сил, а самых зата-

---

енных стихий в людях. Они были врагами непримиримыми и ненавидящими, которым неизбежно, рано или поздно, схватиться в последней схватке. И не в том была главная вражда, что служили они разным классам, а что нужно было одному непременно сломить волю и мысль другого. С каким-то сладострастием отмечает Гмыря каждый раз эти моменты слабости: «И нет твоей воли... силы твоей нету, друже хоробрый... Я — сила». И хотя, придя арестовать Андрея, мог раздавить его своей тяжестью, но «мешало сердце, мешал дурацкий радостный смех, а радость была от того, что тайный Андрей стал открытый, что маленький, мученный стал он — в его руках». Вот почему в упор глядел красными прищуренными глазами на Гузия и кашлял от смеха. Смеялся и тянулся к нему, как пьяный. С каким-то сладострастием наблюдал, как при внешнем спокойствии Гузия жила под ухом у него вздрагивала и напрягалась натянутой веревкой. Наслаждался мыслью, что вот он сейчас убьет Андрея, и от него не останется ни воли, ни силы:

И играл только, как сильный, и мучил, мучаясь и обессиливая сам от этой игры и боли. И чуял, что Андрей понял, зачем к нему пришел Гмыря, и сам вел игру, хотел овладеть временем и найти выход.

И еще больше торжествовал, когда окончательно добил Андрея, когда нашел то, что было сильнее Андрея, против чего не могла устоять и его храбрость. Знал Гмыря, что Андрей ждет смерти, и не та смерть страшна ему, которая на войне, а иная, лютая, от самосуда. Не под силу никому эта смерть. А он, Андрей, храбрый был, славный воин. Но образа этой смерти выдержать не мог: сидел на диване, каменел и глядел куда-то в стену с ужасом в глазах, и лицо его было пепельное, мертвечье. Гмыря смотрел в отверстие двери, в ту комнату, где находился арестованный, и «ухмылялся прыгающей улыбкой душевно-больного».

#### IV

Спор Гмыри и Андрея разрешается не тем, которая из двух армий победит, — белая или красная. Автор переносит как



будто революционную борьбу на совершенно иной театр действий. Победит тот, чью истерзанную душу исцелит его правда, тот побежден, кто в своей правде не найдет выхода из терзающих его сомнений. Из-за этого воюют между собою Андрей и Гмыря. Силой души своей хочется похвалиться каждому из них и этим путем утвердить и правду своего дела. Вот почему так непоследовательно все в мире внешних действий и отношений, в мире тусклом и неглавном при свете этой внутренней борьбы. А в ней все последовательно. Эта борьба развивается по неизбежным законам, и приводит к развязке и к тем выводам, к которым ведет логика истории. И торжествует правда Гмыри, а не правда Андрея. Не выдержал Гузий, потому что был пан, и не только в бою не выдержал, но и души не спас, ибо некуда уйти панской душе. Но одолел душевную бурю Гмыря, ибо страсти его — не его, а «людные». Торжество Гмыри над Гузием, быть-может, самая великая из побед Красной армии и революции. Ибо здесь воля коллектива торжествует над самым сильным врагом, над надрывом человеческой души. Потому что спасся Гмыря от «безумства и содома», вышел из хаоса, преодолел «чертовщину, дикий тарарам, в котором ничего не разберешь».

Почему? Потому что победило здоровое:

Так надо. В этом было все. Над ним и внутри него была великая стихийная сила. Она повелевала им и вела по предназначанному пути. Что это была за сила, каковы ее законы — он не мог постигнуть. Но по привычке мыслить по-деревенски просто, он олицетворял ее в бедном человеке, в его бунтарской воле, в его вековой ненависти к богатым...

Есть что-то общее в настроениях между повестью Гладкова и небольшим рассказом Аросева «Записки Терентия Забытого». Общее, конечно, в условном смысле. И там, и здесь стержень рассказа в рефлексии, в неустанной думе над «вопросами», и там, и здесь путь через Красную армию к твердости и спокойствию. Забытый думает и думает без конца, порой пугается своего отражения в зеркале: физически здоров, а в глазах нервность, беспокойство. И не простое беспокойство, а какое-то большое, глубокое, словно хочется весь мир охватить, а он необъятный

---

Аросев принадлежит к числу наиболее ранних писателей усталости и, кажется, был даже первым, кто произнес это слово в суровые годы борьбы за коммунизм. Герои «Записок» — интеллигенты, разьедаемые анализом и внутренними противоречиями. Чекист Клейнер, ломающий голову над тем, как бы сократить количество расстрелов, — с глазами пустыми и маленькими, как дырки, переставший улыбаться с тех пор, как однажды упала в обморок старушка-просительница, которой он сообщил о расстреле сына. «Сантиментальный» Деревцов, «святой или ребенок», с глазами голубыми, как у инока, столяр, примкнувший к революции после ленских событий, бывший в ссылке, пишущий стихи и, в конце концов, пустивший себе пулю в лоб от собственных мыслей.

Наконец, сам автор «Записок», которому 30 лет. Всякий вопрос его волнует: «Начнешь разбираться, на его место сто вопросов. Дотронешься до них — их стало миллион, и вот горит душа, разрывается, рвется все выше, все выше». В голове его непрерывным потоком текут мысли. Одни растворяются или тают, как дым. Другие застревают в мозгу. А вокруг текут, толкаясь, прохожие. Это — типичный интеллигент недавнего прошлого. Жизнь для него — источник переживаний и бесконечных мыслей. Вглядывается в лица прохожих, среди которых так много лиц простых, безвкусных, и бесцветных, и черствых, как комки холодной пшенной каши, и так мало лиц, озаренных сознанием. И вся улица кажется ему страницей большой книги, а прохожие буквами. Смотрит на них и старается прочесть страницу за страницей.

Только два раза этот неумоимо анализирующий интеллигент почувствовал гармонию в своей душе. Только два раза рассеялись, куда-то улетучились колебания и сомнения, терзавшие его мозг. В первый раз это было, когда его отряду было дано задание переправиться через реку и после двух неудачных попыток прибыл приказ «переправиться на тот берег во что бы то ни стало». Он увидел, что его левый фланг слегка сдает и что дрогнул центр. Закружилась голова, задрожали колени, и ослабели мускулы в руках. Он закричал что-то неистовое, бросился вперед, стреляя из винтовки. Он взбежал на холм

и неистовым голосом кричал откатывающимся цепям: «товарищи, вперед». И, наконец, с криком «ура» кинулся вперед, стреляя из винтовки беспрерывно и беспорядочно. Ясности и гармонии, которой не дали ему месяцы томительных размышлений, он достиг в бою: «Теперь мне уже не было дела до человеческой массы, застрявшей в ложбинах и бегущей в панике от врага. В сознании горели только слова «во что бы то ни стало». И когда он был ранен, и правое плечо сделалось тяжелым и, казалось, врывалось в землю, как якорь, он подумал, что весело умирать — вот так с размаху.

Второй раз это случилось тогда, когда товарищ Ленин передал по проводу: «Москва ждет от вас хлеба. Наша надежда на вашу губернию», а потом прислал ему лично записку: «Под личной ответственностью предгубисполкома жду выполнения разверстки». Он отправился сам по уездам опять со своими думами, его томила бессонница, которая посещала его всегда «запойми», во время которой душа горит, чего-то хочет и ищет. Но... «жду выполнения разверстки». Призыв коллектива исцелил личное. И непонятная деревня, и Матрена Семская, и вся жизнь, такая же сложная, как деревня, — все стало понятным и светлым.

Как путник, заблудившийся в лесу, радуется, заведя просвет между деревьями, так я торжествовал, потому что почувствовал всей душой, что темное время позади нас. Опасности впереди, а солнце и труд — с нами... И надо идти к нему, к солнцу — к источнику тела и энергии. Нет, не мечта это, а жизнь дополненная.

Вывод тот же, что и у Гладкова: в труде и опасностях — просвет пугнику, заблудившемуся в лесу.



## БАБЕЛЬ

Из всего, что написано о Красной армии, более всего шуму произвели опубликованные отрывки из книги «Конармия» Бабеля. Причина такого внимания к молодому автору заключается, конечно, прежде всего, в том, что Бабель, по единодушному признанию критики, принадлежит к числу замечательных художников, выдвинутых революцией. Именно это обстоятельство побудило выступить на защиту Бабеля всех, кто ценит интересы литературы, как таковой. Толчком к нападкам на молодого беллетриста послужило резкое письмо Буденного, обвинявшего Бабеля в клеветническом изображении нашей армии.

К Бабелю можно подойти двояко. Выяснить его облик, как художника, проникнуть в его мироощущение, отвлечься на мгновение от злобы дня, поставить, если так можно выразиться, бабелевское творчество вне времени и пространства. Несомненно, Бабель стоит такой работы. Он не только большой художник, это — один из тех писателей, которые умеют выпуклыми образами поднимать вопросы глубочайшего значения. Словом, можно исходить от него, от этого большого внутреннего мира, и отсюда расценивать изображаемое им явление.

Наше время менее всего способно становиться на этот путь. Как бы ни был велик талант художника, как бы ни была интересна и глубока отдельная личность, — эпоха, перед которой стоят неотложные задачи, расценивает этого художника, прежде всего, как задерживающую или прогрессивную силу в ее стремлениях. Слишком великая роскошь для нас — любоваться, хотя бы и ослепительным, зрелищем, если оно мешает делу. Первый

---

вопрос, который ставят писателю не профессионалы, не любители литературы, это вопрос, кому служит художественное творчество данного автора. Это — новая разновидность старого, как мир, спора между чистым и тенденциозным искусством. Для того, чтобы решить спор о «вине» Бабеля, необходимо заранее условиться о том, что выше: интересы литературы или общества?

«Преступление» Бабеля вовсе не в том, что он задался целью оклеветать Конармию или даже односторонне изобразить ее. Его вина в том, что он художник, прежде всего, настолько влюбленный в свое искусство, что совершенно не интересуется вопросом о том, к каким последствиям приводит оно. Представьте себе на мгновение любителя красоты, который явился бы на поле битвы, где в кровавой схватке сошлись две армии для последнего боя. Как бы отнеслись к нему воюющие, если бы он стал расценивать их с точки зрения эффектных, поражающих воображение моментов. Этот подход был бы настолько чужд тому важному, что происходит на поле битвы, он внес бы такие неожиданности, что вкусы этого оригинального чудака оказались бы не только непримиримыми, но и несоизмеримыми с интересами и взглядами воюющих. Он ворвался бы в ту сферу, в которой все ясно по целям, все действия разворачиваются стройно, определяются четкостью задачи, — он ворвался бы сюда нелепо и дико, то помогая, то мешая обеим сторонам. И неудивительно, что, в конце концов, этого белоручку и аристократа, вероятно, подняли бы на штыки и те и другие, или кто-нибудь один.

Именно такова роль Бабеля. Его своеобразный эстетизм, его пристрастие к яркому, к необыкновенному уже отмечены современной критикой. Он не общественник, он органически не способен стать на определенную точку зрения и проводить ее последовательно и до конца. Это основное свойство бабелевского таланта подверг тонкому анализу Георгий Горбачев в статье, которая, несомненно, представляет лучшее из всего, что написано о Бабеле. Мир, говорит автор статьи, представляется Бабелю, как цветущий луг, по которому ходят женщины и кони. Это не просто имеющая значение лишь в данном рассказе (о Тимошенке и Мельникове) афористическая «концовка».

---

Это — случайное, но правильное выражение сущности подхода Бабеля, как художника, к миру, где радостно смотреть на пестрые цветы, где хочется обладать женщинами и конями. Бабеля в мире нравится все яркое, пестрое, своеобразное, непохожее на другое, все четкое, хотя бы и в своих противоречиях. Он любит линию и цвет. Интереснее всего для него сочетание в одном лице, группе, акте противоположных свойств, вообще, парадоксальность бытия. Он отразил в своем творчестве лишь то, что его поразило в Конармии своим необычайным смешением темного прошлого, жестокого настоящего, светлого и прекрасного будущего. Ради парадокса, красного словца Бабель ведь, пожалуй, не пощадит и родного отца. Любовью к острому объясняет Горбачев и чрезмерный цинизм и обилие эротики у Бабеля: «запретные» темы менее затасканы и звучат в литературе острее и свежее, эротические мотивы резким диссонансом врываются обычно в обстановку общественных деяний, тем более на войне, и порождают сумбур, противоречия, анекдоты.

## II

Я не знаю, преступление ли перед судом литературы этот эстетизм, этот аристократизм писателя. Но что он является преступлением перед судом тех, кто отдал и мысль и чувство борьбе за революцию, — в этом сомнения быть не может. Перед этим последним судом есть и другая вина у Бабеля. Как писатель гротесков, любитель парадоксов и необычайных сочетаний, Бабель не имеет общественных пристрастий. В этом смысле он объективен и холоден. Пестрая, бьющая в глаза уродливость и ослепляющая взор красота рассыпаны повсюду в мире. И Бабель не старается выбирать, а заносит в свою тетрадь все яркое, что попадает под руку. Не привелось ему служить в Конармии, он бы не пошел искать туда сюжетов. Говорят, Золя, прежде чем уселся писать свой «Разгром», специально ездил по тем местам, где разыгрывались самые трагические события франко-прусской войны. Золя сначала почувствовал потребность осветить один из важнейших актов в истории падения второй империи. У этого писателя была цель, было



миросозерцание, для выражения которого намечались темы и порядок их разработки. Так писали и Толстой, и Тургенев, и другие классические писатели, имена которых отмечают вехи в истории нашего общественно-литературного сознания. Им нужно было что-то сказать обществу. При всей высоте их художественных достижений они были проводниками определенного общественного мировоззрения. Есть ли таковое у Бабеля? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Он не ищет своих сюжетов. Ему нечего подбирать, классифицировать. Ему незачем далеко ходить. И, быть-может, самое характерное для него то, что все написанное им сводится почти целиком к двум циклам: «Конармия» и «Одесские рассказы». Кроме Одессы и Конармии, судьба не заносила его никуда, и для молодого писателя этого достаточно. Зачем искать тому, кто не имеет пристрастий, холоден и объективен. А тому единственному пристрастию, которое есть у него, пристрастию к необычному, романтически настроенный ум легко находит пищу повсюду, где бы он ни очутился. И снова едва ли кто-нибудь решится упрекнуть Бабеля за это с точки зрения литературы. Но, может-быть, не так уже неправ и тот, кому в наши дни хочется видеть писателей, пишущих о самом главном и нужном, обнажающих скрытые пружины, которыми движутся события.

И есть еще один пункт, где не правы литераторы и прав Буденый. Как ни как, Бабель коснулся Красной армии. Пусть случайно, но она стала главным сюжетом его высоко художественных миниатюр. «Он не предполагал дать полное и всестороннее изображение Конармии»,—говорят литераторы. «Он оклеветал ее и «взглянул на нее глазами наших врагов»,—говорит Буденый. И в этом споре решению должно предшествовать другое решение — о том, что важнее: литература или общественный интерес. Спор, поднятый вокруг Бабеля, даст плодотворные результаты. Чем чаще общественный запрос будет врываться в литературу, чем чаще крупные действующие силы на арене исторических событий будут предъявлять свои прямые и ясные требования, отменяя всякие другие соображения и ставя все явления творчества перед судом основной и высшей задачи, тем, может-быть, скорее будет засыпана пропасть между лите-

---

ратурой и жизнью, прекратится разброд и отсутствие идейности в художественном творчестве. Конечно, нельзя указывать писателю точек зрения и подхода. Конечно, нельзя приказать Бабелю дать полное и глубокое изображение Конармии в ее целом. Бабель — художник, пока он пишет свободно о том, что привлекает его художественное внимание. Было бы очень печально, если бы против воли такой художник взялся за дело, его не интересующее. Никто бы ничего не выиграл от этого — ни сам художник, ни литература, ни Конармия. Но кто же запретит живой личности, да еще личности цельной, проникнутой пламенным стремлением к великой цели, отделиться от негодованием на эту художественную односторонность? Видеть часть и не желать или не уметь видеть целого в одном из величайших явлений русской революции — дело, чреватое последствиями. И мы в праве сказать Бабелю, что он, при всем его таланте, не тот писатель, который стал в рост эпохи; что ему не стать властителем дум, пока кругозор его не расширится на такие пространства, откуда он сможет охватить все величие сюжета, которого коснулся; что для того, чтобы стать большим писателем, недостаточно даже самой тщательной работы над языком и композицией, а нужна такая же огромная работа над выработкой мирозерцания, над изучением смысла великих событий, современником которых его сделала судьба.

И не в том вина Бабеля, что он изображает темные стороны из жизни Конармии. И у Серафимовича, и у Фурманова, и, в особенности, у Гладкова найдем мы немало сцен, рисующих невежество, жестокость, грабежи. Скрывать отрицательные явления и тенденциозно идеализировать вовсе не задача художника. Все дело в том, какими глазами смотрит художник на всю пестроту и сложность явлений, видит ли он рост тех сил, которые ведут к будущему. У названных писателей все ясно без нарочитой тенденции, без подтасовки фактов: события изображены не менее правдиво, чем у Бабеля. Но они подобраны и расположены иначе, потому что угол зрения, откуда смотрят эти писатели, иной, чем у Бабеля, если только у него, вообще, есть какаля-нибудь точка зрения. Они все имеют то, чего не достает ему: общественное мирозерцание.

### III

Отсутствие последнего объясняет, почему Бабель не имеет и не может иметь того широкого влияния, на которое дает ему право его талант. А талант этот, действительно, исключительный. Со времени наших классиков мы не знаем писателя, который бы умел отливать типичные образы и явления в такую классически простую и сжатую форму. Одно замечание героя заменяет нередко страницы объяснений и описаний. Так писал Мопассан, так в одной фразе выпукло вырисовывалась фигура тургеневского Инсарова или толстовских крестьян. В современной беллетристике сотни страниц исписаны для того, чтобы противопоставить интеллигентскую рефлексию и дряблость революционному не рассуждающему активизму. Но едва ли в ней можно отыскать что-нибудь подобное эпизоду, изображенному в изумительной миниатюре «Смерть Долгушева», эпизоду, относящемуся к войне с поляками.

Человек, сидевший при дороге, был Долгушев, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что — сказал Долгушев, когда мы подъехали — я кончусь. Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушев строго.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что.

— Нет, — ответил я глухо и дал коню шпоры.

Долгушев разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.

— Бежишь — пробормотал он, сползая, — беги, гад.

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бидя.

— По малости чешем, — закричал он весело — что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушева и отъехал.



Они говорили коротко. Я не слышал слов. Долгушев протянул взвонному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушеву в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он бледнее, — убью. Жалееете вы, очкастые нашего брата, как кошка мышку.

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — кричал сзади Гришук, — не дури, — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь, — крикнул Афонька, — он от моей руки по уйдет.

Эти «нет», «беги, гад» и «холуйская кровь», эта «жалкая улыбка» и «не смог» интеллигента, а с другой стороны, Афонькин «выстрел в рот», — ими сказано все, раскрыты внутренние миры больших коллективов.

Было бы ошибочно думать, что Бабель только то и делает, что блуждает по цветистому полю жизни и беспечно вырывает самые яркие и крикливые цветы, не отделяя душистых от ядовитых. Внимательно вчитываясь в его миниатюры, начинаешь угадывать и в нем мирозерцание. Есть, как будто, и у него точка зрения, правда, еле уловимая. Идет и он по своему пути и, может-быть, только кажется холодным и объективным, как казалось, будто пишет свои «правдивые» сказанья, «не мудрствуя лукаво», летописец Пимен, повествуя о том, чего «свидетелем господь его поставил». Как и Пимен, Бабель далеко не беспристрастен и даже не беспристрастен. Есть в его рассказах много «о грехах и темных деяниях», есть не мало о «добре и славе». Где же сам Бабель? В этом надо разобраться.

#### IV

Сначала «о темных деяниях». Много страшного в этих маленьких рассказах. Эскадронный Трунов, «всемирный герой», всовывает саблю в глотку пленному старику поляку, стоящему перед ним на коленях, за то, что офицерская фуражка прилась к его голове. Андрюшка Восьмилетов расстеги-

вадет у этого поляка пуговицы, встряхивает его легионко, стаскивает с умирающего штаны, прихватывает два мундира из кучи и отъезжает, играя плетью и награбленным добром. Семен Тимофеевич Курдюков захватывает в плен своего отца и «стал папашу плетить», а затем «стал его кончать», как выразился в письме к матери младший брат Семена. Молодой кубанец Прищепа, «неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль», вернувшись в станицу, где белые убили его родителей и расхитили имущество, пошел искать по казацким избам — и в тех хатах, где находил вещи матери или чубук отца, оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцами, и иконы, загаженные пометом; затем, запершись в хате, пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы и, в конце концов, сжег и хату и все имущество. В рассказе «Соль» красноармейцы изнасиловали двух девиц, которых они пустили в свой вагон по их просьбе. Афонька Бида, добывая коня, рыщет по лесам, сидит в засадах, поджигает деревни, расстреливает польских старост за укрывательство, и грозный ропот в деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя, отмечает его трудный путь. «Сашка-Христос» заражается сифилисом от «богородицы», старухи-побирушки. И так далее. Без конца грабежи, насилия, разбой, примеры неслыханной бесцельной жестокости, и Буденный имел основание написать свое письмо. При чтении этих ужасов не один читатель может поверить, что «наша революция делалась не классом, выросшим до понимания своих классовых интересов и непосредственной борьбы за власть, а кучкой бандитов, грабителей, разбойников и проституток, насильно и нахально захвативших эту власть».

В особенности сильное впечатление производит тупость и невежество, в раскрытии которого Бабель проявляет такое мастерство. И здесь, часто одна фраза озаряет всю глубину тьмы, окутывающей умы Красной армии. Он умеет пересыпать эти свидетельства бессознательности народа искрами неподражаемой проники. «Мы увидели, — пишет упомянутый выше Курдюков, — что тыл никогда не сочувствует фронту и в нем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме».

И кажется, будто не семья Курдюковых, а десятки тысяч отупевших бойцов изображены на той «сломанной» фотографии, которую показал ему автор вышеупомянутого письма:

На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижимый, скуластый, с сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом кресле, мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми, светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно-огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученьи, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

## У

Если подойти к делу с точки зрения, так сказать, статистической, если сосчитать, как выражались в старину, отрицательных и положительных героев, то, может-быть, результаты окажутся спорными. Рядом с грабителями и насильниками Бабель выводит типы героев беззаветной храбрости и недостижимой силы воли.

Таков Дьяков, к которому пришел жаловаться крестьянин на реквизицию лошади: взамен ему дали жалкую клячу, издающую, безнадежно улегшуюся на земле. Привычными приемами Дьяков поднял лошадь, сконфузив жалобщика. Бабель дал выпуклый образ этого сильного человека, с «малиновой ладони» которого животное слизнуло какое-то невидимое повеление» и тотчас же «почувствовало умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодеватого Ромео». Таков Колесников, бригадный, который час тому назад был командиром полка, а неделю назад — командиром эскадрона, который не говорит других слов, кроме «понял» и «слушаю», и, выполнив опаснейшее задание, не замечая раны, лениво, по обыкновению, дремлет, — герой, не сознающий своего героизма, в котором автор увидел «властительное равнодушие татарского хана» и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Анапасеньки, пленительного Тимошенки. Таков Трунов, упомянутый выше, идущий на верную смерть, отдающий пулеметчикам свое последнее доне-



сение и сапоги со словами: «пользуйся, сапоги новые», таковы и его пулеметчики, отвечающие на это: «счастливы вам, командир». Таков Долгушев и таков Никита Балмашев, герой рассказа «Соль», в наивном и честном уме которого причудливо сочетаются глубокое сознание долга и примитивная жестокость. Тронутый мольбами женщины с ребенком, Балмашев допускает ее в вагон, чтобы доставить ее мужу. Он останавливает ребят, отпускающих на ее счет циническую шутку, и берет ее под свою охрану:

«Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитя как водится с матерями,—никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало.

Открыв, что женщина обманула его и в пеленках завернут пудовик соли, Балмашев пришел в бешенство:

Балмашев простит твоему лиху, Балмашеву оно немного стоит. Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в Республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших, на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе, насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Россию, задавленную болью...

Балмашев выбросил вероломную гражданку на ходу, и, увидав «эту невредимую женщину и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются», он застрелил ее и «смыл этот позор с лица трудовой земли и Республики».

Герои, подобные Балмашеву, бойцы, сознающие связь между частными явлениями и великим целым, редко встречаются у Бабеля. У революции, об ее мировом значении его красноармейцы почти не говорят, высоких слов и широковещательных манифестов в книге «Конармия» нет. Действующие лица всегда прозаичны по внешности. Они идут в бой без возвы-

шенных настроений, без энтузиазма, без громких фраз. Их злоба к врагу чаще всего питается какой-нибудь личной обидой или утратой.

Афонька Бида запыхал мезтью и ненавистью, потому что польская пуля пробилa шею его любимой лошади. Клокочущий вой, говорит автор, достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуши в церкви. Отнимая руки от помертвевшего лица, Афонька давал зарок «беспощадно рубать несказанную шляхту». Над трупом коня обещался он «дойти до сердечного вздоха, до вздоха ейного и богоматерской крови». А это «белесое, босое, вольнское мужичье»? Они шли с охотой, дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденовцев, ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала. Совсем бессознательно идет в бой Курдюков, развозящий на позиции газету «Красный Кавалерист», «которую всякий боец на передовой позиции желает прочесть, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту». Отчего свирепствовал Прищепа, мы уже знаем. Год тому назад он бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контр-разведке. Имущество расхитили соседи.

Так приходят к революции бабелевские красноармейцы. Бабель — писатель, у которого революция чувствуется меньше всего. Ее трудно разглядеть за потерянным скарбом, убитым конем, украденной винтовкой и тысячами других мелочей, которые всегда у Бабеля на первом плане. В его творчестве нет монументальности и величия. Как-то Демьян Бедный, коснувшись Бабеля, рассказал следующий случай из жизни Кон-армии. Какой-то отряд шел в бой, и командир отряда умудрялся на ходу обучать солдат грамоте. Люди, которым через несколько часов предстояло, быть-может, стать бездыханными трупами лежать на поле — эти люди продолжали выкрикивать буквы вслед за своим командиром. «Вот этого, — сказал Демьян, — не заметил Бабель».

Было и то, о чем повествует молодой беллетрист. Были и сыновья, «кончавшие» своих папаш, были грабежи и насилия. Можно было рассказать и о них. Но было и другое, — вот эти



---

буквы, выкрикиваемые на ходу. Не только в отрицательных, но и в положительных героях Бабеля есть эта обособленность. Они как-то изолированы, без плана и цели выхвачены из целого, только потому, что их трудно не заметить по их яркости. А буквы, это — та мелочь, в которой светится революция, как «солнце в малой капле вод».

Бабель не враг и не друг революции. Он не захотел войти в русло ее движения. Он ввел ее в орбиту своего собственного движения. Он включил ее в состав своих многочисленных путников, а так как она неизмеримо велика для такой орбиты, то оторвалась и умчалась в беспредельные просторы, оставив Бабеля только небольшой отделившийся клочок своего существа. И вместо того, чтобы нераздельно слиться с ее грандиозностью, Бабель пока довольствуется тем, что носит за собою ее маленькую частицу.

Почувствует ли когда-нибудь Бабель, какие великие возможности таит для него это слияние, — мы не знаем. Пока он довольствуется малым. Для него нет расширения и развития на других путях. И ему тем более необходимо задуматься, что над его художественным творчеством собираются облака, правда, пока еще небольшие и мимолетные. Красная армия — сконцентрированная энергия революции, ее воля, ее высшая напряженность. Бабель не чувствует этого, но зато он чувствует иногда связь иного порядка. Среди его героев есть знакомый нам тип правдоискателя или даже богоискателя. Есть такие, которые пришли к Красной армии не от того, что враги убили коня или расхитили имущество. Сашка-Христос, тот самый, которого заразила дурной болезнью побируха-«богородица», с детства томится каким-то тревожным томлением. Христом прозвали его за его кротость. Просился он у отца в пастухи, потому что «все святители вышли из пастухов». В пастухах он пробыл до призыва по случаю начавшейся войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, где собирался отряд против белых. Он был в полку Буденого и бригаде его, в дивизии первой конной армии. Он ходил выручать героически Царицын, соединялся с десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце.



---

С разными побуждениями приходят в Красную армию. Сашка-Христос пришел потому, что чувствовал в себе призвание быть святителем. Быть-может, во всей галлее выпуклых образов, высеченных Бабелем, он сам постигается лучше всего среди этих «святителей». Он всюду чужой, он всюду холоден и равнодушен, но кажется, что тайным волнением дрожат струны его собственной души только тогда, когда он сталкивается с искателями правды или, как говорили в предреволюционную эпоху, с богоискателями. Не здесь ли, не среди ли них настоящий Бабель, которого так трудно познать в его эпическом, почти библейском стиле? От громов войны он с особым волнением уходит к ним.

Это случилось однажды ночью, когда за окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Мотали Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Здесь автор познакомился с его сыном Ильей, юношей с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини, — с проклятым сыном, последним сыном, непокорным сыном рабби Мотале, последнего рабби из Чернобыльской династии. Лицо Ильи, последнего принца династии, было прекрасно.

Вторично автор встретил Илью, когда, после открытия фронта у Ковеля, поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей, и чудовищная Россия, неправдоподобная, затопала лаптями по обе стороны вагона. Среди «тифозного мужичья», цеплявшегося за подножки вагонов, избиваемого ударами прикладов, автор узнал Илью, сына житомирского рабби. Томительно было видеть принца, потерявшего штаны и переломленного надвое солдатской котомкой. Когда его втащили в вагон, автор, видевший его в одну из своих скитальческих ночей, стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Ильи Брацлавского. Здесь все было свалено вместе, — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений VI съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строчки

древне-еврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на автора — страницы «Песни песней» и револьверные патроны.

Последний отпрыск древней раввинской династии был коммунистом, и, когда кулаки открыли фронт, он принял свободный полк, но было поздно, у него не хватило артиллерии. Последний принц умер среди стихов, филактерий и портянок. Его похоронили на забытой станции. И автор, «едва вмещающий в древнем теле бури своего воображения, принял последний вздох своего брата».

Бабель обвевяи этими настроениями, уходящими в седую старину. От «зевающей пустыни войны» он убегает к ним, и нередко кажется, что здесь истинная стихия его творчества, что он, ко всему подходящий только с жадным любопытством любителя яркой пестроты, переживает истинное волнение лишь среди готического Сокала, где евреи в рваных лапсердаках до остервенения спорят об учении Адасии, раввина из Белеза, и о хасидизме умеренного толка, о каббале, забыв войну и залпы: что действительно вскрывается самое затаенное его души тогда, когда он слышит слова Гедали: «В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекающими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке яростных ветров истории»...

Бабель, вероятно, молод. Он любит все, поражающее взор — и уродливое, и прекрасное, лишь бы оно было необычайно. Его судьба — в его собственных руках: или он остановится на своих миниатюрах, или ему суждено стать писателем первой величины, на что дает ему право его талант. Но такие писатели возникают, когда идут по путям, где бесконечны просторы, и нет пределов поступательному движению. Почувствует ли Бабель, что этот путь не там, где «с вытекшими глазницами стоит хасидизм на перекрестке яростных ветров истории», а там, где напряженно строятся новые формы жизни, где на беспредельных фронтах ведется беспримерная борьба за их торжество?



## ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

### I

«Это — наш таран», — писал о Демьяне Бедном Ленин, когда еще находился в изгнании. «Его стихи сыграют здесь большую роль и могут нам заменить хорошую дивизию», — писал о нем Троцкий уже в те времена, когда Красная армия отстаивала грудью завоеванную свободу. 22 апреля 1923 года за № 279 опубликован единственный в истории документ. Это — приказ председателя Революционного Военного Совета Республики Троцкого: «Демьян Бедный, меткий стрелок по врагам трудящихся, доблестный кавалерист слова, награжден ВЦИК — по представлению РВВС — орденом Красного Знамени. За все время гражданской войны Демьян Бедный не покидал рядов Красной армии. Он — участник ее борьбы и ее побед. Ныне Демьян в бессрочном отпуску. Пробьет час — и армия призовет его снова. Узнав о награждении своего поэта, каждый красный воин скажет: «Спасибо Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету. Награда по заслугам».

Демьян Бедный, как поэт Красной армии, занимает совершенно особое место. Его даже нельзя назвать ее поэтом. Он участвует в деле ее строительства. Вместе с ее вождями, командирами, комиссарами и солдатами он организует ее победы, он ищет выхода из ее неудач. Есть древнее предание о поэте Тиртее, которого послали к спартамцам не для того, чтобы «заниматься поэзией», а для того, чтобы организовать победу. И еще в настоящее время, более чем через 2000 лет, когда мы читаем дошедшие до нас стихи этого поэта, то кажется, будто перед нами приказы Суворова или Троцкого. Вероятно, Тиртей никогда



и не чувствовал себя поэтом, как это привыкли понимать мы: он никогда не «изображал» армии, не восторгался ею, не сочинял в честь ее каких-нибудь гимнов. Он пользовался своим метким словом для того, чтобы указывать ей, как действовать в том или другом случае. Ему было не до поэзии, как таковой. Слишком важная и неотложная работа лежала на нем. Таков и Демьян. Он — командир, никем не назначенный, ни к какой бригаде или дивизии не прикомандированный. Он — политический комиссар вне штата, политрук, солдат и т. п. Среди должностей, утвержденных при Красной армии декретами и приказами, он, никем не уполномоченный, создал должность, не имеющую примера в прошлом. Он обогащает боевые средства рядом своих произведений. Его стихи — особый род оружия, рядом с артиллерией и винтовкой. Его поэзия — часть общего плана, как декрет Совнаркома, как инструкция наркома. Он возвел в систему и заставил признать тот вид поэзии, который искони считался ее позором — поэзии на заказ. Он утвердил за ним почетное место. Он является с своими стихами тогда, когда его зовут, а не тогда, когда в душе родится вдохновение. Он, вероятно, никогда не знал Аполлона и не слышал, как тот требовал к священной жертве. Стихи он пишет в тех случаях, когда осуществление того или иного задания требует образной формы мышления. Во всех его произведениях не встретишь стиха, где Демьян называл бы себя поэтом, но он любит называть себя мужиком или солдатом.

Пою... Но разве я «пою»?  
Мой голос огрубел в бою,  
И стих мой... блеску нет в его простом наряде.  
Не на сверкающей астраде  
Пред «чистой публикой», восторженно-немой,  
И не под скрипок стон чарующе-напевный  
Я возвышаю голос свой,  
Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный,  
Наследья тяжкого неся проклятый груз.  
Я не служитель муз;  
Мой, твердый четкий стих — мой подвиг ежедневный.  
Родной народ, страдалец трудовой,  
Мне важен суд лишь твой.  
Ты мне один судья нелицемерный,

Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный,  
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой».

«Стихи — подвиг ежедневный» — вот формула конструктивизма в слове. Писать стихи, это — не значит рассказывать о жизни или учить ей, а еще менее — изображает переживания своей души. Это значит — сочетать свои усилия с другими в повседневной работе, подвигать вперед общее дело.

## II

Можно было бы подвести итоги и чисто литературным заслугам Демьяна. Критика, долго замалчивавшая его, теперь уже признает, что он — большой мастер словесного искусства, законный наследник Пушкина, Крылова и Некрасова, что он, как никто, владеет народным языком, разнообразнейшими стихотворными стилями и формами, размерами и метрами, что он возродил басню во всей ее художественной красоте, что он — популярнейший из современных поэтов, произведения которого расходятся в сотнях тысяч экземпляров, и т. д. Но всего этого было бы недостаточно для того, чтобы объяснить его совершенно исключительное влияние на умы масс. «Читаем мы разные книги и газеты, да плохо понимаем, а у тебя, Демьяша, выговор приятный». Эти слова какого-то крестьянина объясняют влияние Демьяна более четко, чем это могла бы сделать критика.

Мне уже приходилось говорить, что в творчестве Демьяна есть то, чего так тщетно добивались все претендовавшие на звание поэта революции. До Демьяна существовала разнообразная и богатая терминология по вопросу о связи между литературой и общественной жизнью. Даже сторонники чистого искусства проговаривались относительно воспитательного, облагораживающего, просветительного и всякого иного действия литературы, не говоря уже об агитационном, политическом, организующем и т. д. ее значении. Но только Демьян дал жизнь этим терминам, показав с небывалым до сих пор мастерством, как пользоваться образным словом в применении к повседневности. Наша революция, — быть-может, первая практическая революция в истории, быстро освободившаяся от всякого доктринерства,



а Демьян — первый из поэтов, который дал поэзии практическую цель. В стихотворении «Маяк» он говорит, что ум его «мужицкой складки, привыкший с ранних лет брести путем угадки»:

Стрелой не режет он воды, как миноноска,  
Но ломит толстый лед, как грузный ледакол.

Стихи Демьяна Бедного, относящиеся к Красной армии, так многочисленны, рассеяны по различным сборникам и газетам, что едва ли когда-нибудь удастся собрать их без пропусков. А между тем в них вся история Красной армии. Ведь, это были, своего рода, военные части, которых звали на подмогу, которыми пользовались и в сражениях, и в обозах, и в тылу. Л. Сосновский приводит ряд таких заказов. «На пустом пространстве Карелии, размером в две Бельгии, продвигаются сейчас, — писал Троцкий Демьяну, — тысячи и тысячи красноармейцев, курсантов, — команд разведчиков. Есть убитые, есть раненые, есть замерзшие, есть провалившиеся в незамерзшие болота сквозь рыхлый снег. Эти герои заслужили стихотворного привета». В другой раз поводом для написания одного из прекраснейших стихотворений Демьяна Бедного («Советский часовой») послужила телеграмма Троцкого о гибели нашего часового на Днестре, подстреленного пулей с румынского берега. Многие из стихотворений, посвященных Красной армии, вошли в отдельные сборники: «Правда — с товарищами красноармейцами беседа по душам», «Красный казак», «Богатырский бой», «В огненном кольце», «О Митьке-бегунце и его конце» и др.

### III

В стихах Демьяна Бедного — история Красной армии, вернее тех усилий, которыми создавалась она и осуществлялись ее победы.

Напомним важнейшие моменты, запечатленные в его стихах. Было время, когда борьба с дезертирством была самой важной задачей. В глухих лесах скрывались многие тысячи трусов и шкурников. Демьян написал поэму о Митьке-бегунце. Она мастерской образец истинно-художественной агитации. Поэт использовал все средства, чтобы оказать воздействие на народную



психологию. В простом рассказе сумел он представить всю мучительность положения дезертира. Пущено в ход все, начиная с угрозы и кончая призывом к лучшим чувствам. Митюха с зимы прячется в доме своего отца Кузьмы. «Дезертир—сынок родной прохладается с женой». Поэма начинается с того, как муравьи показали Митьке пример мужества и солидарности:

Муравьи в труху изъели старый пенё.

То туда бегут мурашки, то сюда,

После общего веселого труда

В муравейник мчат — порядки там навесь,

Муравьиная коммуна, так и есть.

Тронул Митя муравейник сапогом,

Муравьи из муравейника — бегом,

Дружно кинулись в атаку на врага.

Митя — смахивать рукой их с сапога,

Ан мурашки лезут кучей из травы,

За коммуну не жалеют головы, —

Храбрецы уже у Мити на руке.

Как ожженный, Митя бросился к реке,

Наступивши по дороге на жука.

Раскраснелась у Мити вся рука,

Раздеваться стал наш Митя весь в огне,

Слышит — бегают мурашки по спине.

Окунулся Митя в речку с головой.

— «Муравейник-то, одначе, боевой.

Чтобы делал я, когда бы не вода?»

Ай, мурашки. Коммунисты, хоть куда.

Этот случай навел Митьку на размышления, почувствовал он стыд и тоску: «Где-то там красные бьются войска... Бьются за правое дело. Спутал мне голову тятенька мой». Рядом с угрызениями совести появилось чувство страха.

Дома Митюхе, одначе, не спать;

Будет всю ночь лихорадка трепать,

Будет то слева, то справа

Слышаться лай растревоженных псов;

Топот и звуки чужих голосов:

— «Не на меня ли облава?»

Далее, новое испытание: за потворство Митьке волостной совет возложил ряд повинностей на Кузьму, заставил запахать ползапашки Малашке, у которой муж на фронте. Когда пришло

из города в деревню «обращенье», обещающее прощение всем раскаявшимся дезертирам, явившимся в назначенный срок, Митька видел, как отправились на сбор «в перелетчики попавшие случайно». Кулацкие же сынки и «сволочь всякой масти» продолжали борьбу с советской властью, и Митьке пришлось уйти в лесной отряд с ними. Слухи о победах Колчака и вспыхнувшие надежды шкурников. Опровержение этих слухов и уныние бегунцов. Черные дни: поражение белых возле Питера, бегство колчаковцев, ужас при мысли о предстоящем возвращении красных войск с Урала и каре, ожидающей дезертиров, которые вздрагивают при малейшем шорохе в лесу. Бегство к Деникину и разговор с белым генералом; беглецы просят дать им отдохнуть за их предательство, но ответ генерала неожиданный:

Был бы отдых вам, ребятушки,

Если б враг не напирал.

Все вы — brave солдатушки, —

Ухмыльнулся генерал. —

Вашу доблесть в полной мере я

Оценю, само собой,

Всех зеленых — знак доверия —

Назначая в первый бой.

Понял свою ошибку Митька, как повели его в окопы, понял, что попал в капкан, и вторично умудрился бежать. Бежал без оглядки более полусотни верст, прятался в поле за рожью, в оврагах по кустам и достиг отцовского дома. Решил покаяться перед миром.

Пусть я совесть успокою.

Смерть. Расстрел. Не задрожу.

Жизнью подлюю такою

Больше я не дорожу.

Был досель в отцовской воле,

У отца на поводу.

По его указке боле

Я уж — баста — не пойду.

Пощадить меня решите.

Дайте милость лишь одну:

Мне на фронте разрешите

Кровью смыть свою вину.

Придя домой, он бросился на отца, но старик схватил топор и зарубил сына. Над могилой Мити на кресте кто-то вывел следующую надпись:

Поплачьте все над Митей-бегунцом.

Боялся смерти он. Скитался дезертиром.

И дома смерть нашел: убит родным отцом.

Спи, дорогой товарищ, с миром.

#### IV

Еще более искусный прием массовой пропаганды среди Красной армии использовал Демьян в своей беседе «с товарищами-красноармейцами по душам». Он получил письмо от одного из них, в котором тот жаловался на вести, приходящие из дому, — о притеснениях, чинимых «советчиками» по отношению к мужику. Демьян Бедный переложил это письмо в стихи и ответил на него стихотворным посланием. Причина деревенских беспорядков заключается в том, что к Советской власти присосались господа, уцелевшие после революции:

Ходуи царя Романова,

Челядь сброшенных господ,

Перекрасившихся заново,

Взбаламутила народ.

Приспособив помаленечку,

Так, чтоб было ей тепло,

Где прижала деревенечку,

Где ограбила село...

Замутили эти гадины

Нам не мало волосей.

Нет, не жалко перекладины

Нам для этаких властей.

Далее поэт подробно пересказывает, как пришлось нарядить повсюду следствие, чтобы выявить виновников крестьянских бедствий и раздражения, как пришлось произвести ряд ревизий, чтобы изобличить черносотенцев, забравшихся в комиссары. Бывшие урядники, стражники, воры и взяточники, присосавшиеся к новой власти, были причиной того, что «новый строй похуже старого показался мужикам». Благодаря им, кулаки и торгаши наживали несметные барыши.



Наконец, по малом времени  
Правда выплыла на свет.  
Получил от нас по темени  
Не один такой совет.  
Ленин дал распоряжение,  
Чтоб, прижучив кулаков,  
Больше викнуть в положение  
Всех трудящих мужиков...

В такой ясной и простой форме развертывается подробная программа действий, ведущая к тому, чтобы изжить зло и наладить жизнь «общим содружеством» всех, кто работает в мастерской, с теми, кто трудится на пашне. На вершины агитационного искусства поднимается Демьян Бедный в стихах, в которых предостерегает против доверия к агитаторам, подкупленным господами. Их цель:

Горемыку-простолюдина  
На господский взять аркан, —  
Силой взять или речью лживою  
С толку сбить и улестить,  
Чтоб потом тройной наживою  
Все убытки возместить,  
Чтобы к барам вновь вернулась  
Сила прежняя и власть,  
Чтобы кровью захлебнулась  
Ненасытная их пасть?..  
Чтобы вновь орлы двуглавые  
Осеняли трон царя,  
Чтобы войны шли кровавые  
За проливы и моря.

И он зовет довести до конца «бой последний, бой решительный».

Вместе с жирными чалдонами  
Доконаем Колчака,  
Чтобы царскими законами  
Не страшал он мужика.

У

Было время, и тревожные дела совершались на Дону. Мало-сознательная беднота казацкая готова была заколебаться, окру-

женная богатеями. В серии поэтических эпизодов Демьян Бедный раскрывает социальный смысл совершающихся событий. Стихи эти собраны в сборнике «Красный казак». Вот над славной рекой Кубанью едет молодой казак, смелая головушка, а за ним гонится погоня «с подлецом-старшиной». В той погоне офицеры да урядники, лютые опричники, челядь атаманская, преследующая молодого казака за то, что ему «дорога народная власть рабоче-крестьянская», что он хочет послужить народу, стать за власть советскую и готов положить в бою молодецкую голову. Вот другой казак, спасающийся от погони, спрашивает встречную молодую девицу о том, не видала ли она такого отряда. Но девушка не хочет дать ответа, потому что не знает, кем он прислан сюда и откуда, — «от старшин, аль от бедного люда». Когда казак сообщает ей, что он на ножах «со всей старшиною», девушка подробно объясняет ему путь, которым он может дойти до «своих». Стихотворение заканчивается обращением к казакам расправиться с вражьей ордою единой трудовой семьей:

Нам, работникам фабрик и пашен,  
Никакой с вами дьявол нестрашен!  
С вашей верною братской подмогой  
Все пойдем мы одною дорогой,  
От господского гнета свободной,  
К царству правды и воли народной.

Когда в начале гражданской войны взоры контр-революции были с надеждой устремлены на Дон и Кубань, Демьян Бедный написал обращение «К братьям-казакам». Агенты реакции вели усиленную пропаганду среди казаков, опираясь на богатеев, пользовавшихся традиционным влиянием среди бедноты.

«Обращение» Демьяна начинается с беседы, исполненной тонкого юмора, пересыпанной искрящимися блестками язвительной сатиры. В этой воображаемой беседе сказывается искусство Демьяна простыми и ясными путями вводить неподготовленные массы в круг сложнейших социальных вопросов. Русские помещики и фабриканты обращаются к казачьим главарям с просьбой помочь им против русских рабочих и крестьян. Англичане и французы шлют боевые грузы и войска, но этого

оказалось мало для победы над русским пролетариатом. Вся надежда на казаков.

Ой, вы, brave кубанцы,  
Забирайте ружья-рапцы.  
Подсобите нам, донцы,  
Боевые молодцы.  
Окажите вы нам дружбу.  
Сослужите вы нам службу,  
Помогите сбить рога  
У проклятого врага.  
Вызволяйте нашу братью.  
Справьтесь только с красной ратью,  
Мы заплатим вам потом  
И землю, и скотом, —  
Денег — сколько вам угодно,  
Только б стало нам свободно  
Снова править всей страной,  
Покорив «народ родной».  
Не жалейте ж крови вашей:  
Прогоните красных взащей.  
День упустим — не вернем:  
Враг наш крепнет с каждым днем.

Старшина обещает «подтянуть молодчиков», потому что правление войсковое еще в руках «стариков», и обещает вновь посадить в России даря. Сатирическая картина сменяется стихами, полными задумчивой лирики, с которыми поэт обращается к бедноте и молодежи:

Братцы, слушайте меня.  
Это я, — тут с вами рядом, —  
Вас окинув братским взглядом,  
С вами братски речь веду,  
Как нам снова жить в ладу.  
Знаю весь я ваш порядок:  
С вами вместе нас лошадок,  
Вместе бегаю по задам,  
По помещичьим садам,  
Вместе с вами в хороводе  
Пел я песни о народе,  
О судьбе его лихой.  
Я ль советчик вам плохой?  
Я ли ваш первый враг?



Мне ли жребий ваш не дорог?  
Я ль за вас — с врагом в бою —  
Головой не постою?  
Братья, вас берут обманом;  
Бьетесь вы не с вражьем станом, —  
Вас враги ведут на бой  
С разнесчастной гольтыбьбой,  
С бедняками-мужиками,  
С теми, кто страдал веками, —  
Кто, прикованный к ярму,  
Знал и голод и тюрьму, —  
Кто, молясь земному богу,  
Протоптал в Сибирь дорогу, —  
Кто под палкой и кнутом  
Лишь рабочим был скотом,  
Кто с пеленок до могилы  
Надрывал в работе жилы,  
Чтоб кормить всех упырей:  
Богачей, попов, царей...

Как опытный оратор, знающий свою аудиторию, автор берегает патетическую часть к концу своей речи.

Братья, знайте: ваши дети —  
Вот в чем горький ваш удел, —  
Не простят вам ваших дел,  
Не простят измены черной;  
Что вы шли ордой покорной  
За ватагою господ  
Кабалить родной народ, —  
Что вы в ход пускали плети  
Для того, чтоб ваши дети,  
Барских вырождков рабы,  
Подставляли им горбы.

## VI

Так же мастерски приступает к своей теме Демьян в «Красноармейцах». И здесь лирическая гамма, блещущая всевозможными переливами: то злым сарказмом, то неподдельным пафосом, то дружеским, братским сочувствием и состраданием. Поп и кулак убеждают крестьян восстать против советской власти. Фигуры обоих деревенских пауков — сами по себе прекрасные художественные

произведения. Поп, объевшийся ухи у кулака, проповедующий на тему об иродах, погрязших в грехе, призывающий вспомнить бога и жить в ладу; кулак, проливающий слезы о своем разорении, об отнятых коровах и лошадях; картина бунта обманутых крестьян, одураченной бедноты, бегство попа при приближении красных войск и, наконец, просветление крестьян, выдающих кулака Советской власти,— все это переплетается комическими сценами, лирическими отступлениями и просится на экран.

Эти поэмы, написанные на случай, наиболее характерны для творчества Демьяна. Именно, они свидетельствуют о той огромной роли, которую сыграл он в деле организации победы над врагами революции. Совершенно исключительная способность связывать в уме крестьян и рабочих частное с общим, способность, исходя от мелкого эпизода, расширять сознание до охвата крупнейших проблем социальной борьбы. Трактаты по политической экономии, рассказанные образным языком мужика.

Но не только эти стихи — на злобу дня. Демьян — автор маршей, песен, боевых и походных, частушек, басен. И все они проникнуты тем же пафосом борьбы и организации, той же неизменной целью привести разношерстные силы советских народов к одной цели. Такова «красноармейская походная песня», в которой слышится стройный топот ног идущей армии.

Левой, правой, левой, правой,  
Через горы и леса.  
Иль погибнем мы со славой,  
Иль покажем чудеса.

В этой песне мелькают образы врагов народа: кулаки, попы, банкиры, «все, кто кровью нашей пьян». В этой песне призыв к энергии, к непрерывному напряжению сил, бодрая вера в торжество трудящихся, «кровная спайка со всемирной голытьбой». Такова красноармейская песня «Проводы», написанная в стиле народных песен.

Как родная мать меня,  
Провожала.  
Как тут вся моя родня  
Набежала.

Родные уговаривают Ваню не идти в солдаты: «В Красной армии штыки, чай, найдутся. Без тебя большевики обойдутся». Дома много дела, а особенно теперь, когда сразу привалило столько земли, дома девка Арина, на которой хорошо бы жениться парню. Но Ваня дает отпор этим уговорам:

Будь такие все, как вы, ротозей,  
Что б осталось от Москвы,  
От Расеи?  
Все пошло б на старый лад,  
На недолю,  
Взяли б вновь от нас назад  
Землю, волю;  
Сел бы барин на земле  
Злым Малютой;  
Мы б завьли в кабале  
Самой лютой.  
А иду я не на пляс,  
На пирушку,  
Покидаючи на вас  
Мать-старушку:  
С Красной армией пойду  
Я походом,  
Смертный бой я поведу  
С барским сбродом...  
Будет нам милее рай,  
Взятый с бою,  
Не кровавый, пьяный рай  
Мироедский, —  
Русь родная, вольный край,  
Край советский.

## VII

Иногда в этих песнях нетрудно уловить отдельные выражения, образы и припевы, распространенные в народе, записанные нашими этнографами. Но революционный поэт умеет вложить в них новое содержание и легко сочетает сложившиеся веками художественные формы с кипучими идеями революционных дней. Его «Красная винтовка», написанная на мотив знаменитой «Дубинушки», — одна из любимых красноармейских песен. Всем известный припев заменен более современным вариантом.



Эй, винтовочка, ухнем,  
Эй, заветная, сама пальнет,  
Сама пальнет, сама пальнет,  
Подернем, подернем  
Да ухнем.

Известные куплеты переделаны так:

В деревнях кулаки  
Собирали полки  
Для поддержки помещичьей своры.  
Бедняки кулакам,  
Наложив по бокам,  
Бар последней лишили опоры.

Или:

Англичанин — хитрец,  
Но народ наш — мудрец,  
И плочет он на вражьи уловки.  
Танки вязнут в снегу,  
Мы ж лихому врагу  
Пулю в лоб шлем из меткой винтовки.

И совершенно исключительно по своей красочности стихотворение «Расказанское положение», где в уста современного деятеля, учредиловца Лебедева, и «кушца-мудреца» Крестовникова вложены контр-революционные речи, облеченные в былинную форму. Это — повествование о том, как, собрав деньги с казанского купечества, учредиловцы обманули их, и город попал в руки большевиков:

Ой ты, Волга, многоводная, широкая,  
Что широкая, раздольная, глубокая,  
Ты тряхни своею вольностью старою,  
Зашуми да разбушуйся под Самарою.  
Расскажи там всем про дело, про казанское,  
Что про войско, про рабочее, крестьянское:  
Оно движется, несется темной тучею,  
Темной тучею, лавиною могучею;  
Оно бьется за судьбу свою свободную,  
За советскую, за власть простонародную.  
Оно бьется, горит ревностью ярою, —  
Выше взвейся красный флаг наш над Самарою.

Творчество Демьяна Бедного дышет практицизмом. В этом — его созвучие с революцией. Даже бережливому отношению

к патронам учит он в баснях, и поучительная повесть о Кузьме Хлопушкине, избитом за неумелое, бесполезное расстреливание патронов, может служить образчиком демьяновского пользования словом. Кажется, что нельзя подвести итогов его мировоззрению. Кропотливый труженик на ниве политики, только проникающему взору открывает он великое революционное горение, скрытое за этими будничными заботами. Таков Демьян в своих песнях о Красной армии. Побасенки, притчи, прибаутки и частушки на крошечные темки. Не только до мировоззрения, но и до пафоса не докопаясь, целого и единого не поймашь. Начал с крестьян, придвинулся к пролетариату, сжился, с Красной армией, всякий раз быстро перестраивая свою лиру когда это требуется. И только тот, кто не видит неуклонного поступательного движения революции во всех ее зигзагах, в уклонах и поворотах, не поймет железной спаянности всех частей демьяновского творчества, не почувствует единства в кажущейся изменчивости этого потока афоризмов, изречений и насмешек.

## ЛИБЕДИНСКИЙ

### I

Юрий Либединский обратил на себя общее внимание своей повестью «Неделя». Внимание это объяснялось тем, что впервые в нашей беллетристике появились глубоко понятые образы коммунистов. Только на шестом году революции литература начала различать истинного революционера, солдата той небольшой армии, которую так часто называют авангардом революции. Но не только в этом, так сказать, историческом значении «Недели» заключается обаяние этого небольшого рассказа. Сила Либединского — в высоком моральном чувстве, с которым подходит он к событиям. Я напому те мысли, которые мне уже приходилось высказать по поводу «Недели» (в книге «Литература этих лет»).

Ход мысли у него был такой: революция от нас требует, чтобы мы не выходили из общепайковой нормы, хотя бы квалифицированного рабочего. Я же рассуждал так: мы, это — революция, т. е., то, что мы на митингах называем — передовой авангард. Если каждый из нас, несущий большую работу, будет голодать, слабость и надрываться, то, конечно, нашему авангарду скоро придет конец. Ведь, это же так просто. Для них, интеллигентов, революция — что-то постороннее. Божок, требующий жертв, а для меня, например... Я могу сказать вроде, как какой-то король говорил: «Государство это — я».

Это — мысли одного из героев «Недели». Выходит, что мне — паек сверх нормы, ибо я нужнее для революции, чем другие, и здоровье и жизнь моя важнее и ценнее жизни и здоровья других людей.

Так рассуждает или мерзавец, или святой.



Кто же в наши дни в святых верит?.. Стало-быть, мерзавец. А вот Юрий Либединский поверил, и не только поверил, но в душу к ним (не к тем, конечно, святым, чьи мощи монахи собирают) глубоко проник и написал о них повесть, волнующую и искреннюю, быть-может, самую нужную для колеблющегося времени.

Что же замечательного в этой повести? Прост ее сюжет. В уездный городок необходимо доставить дрова, без них нельзя повезти семян для посева. Нужно послать батальон, охраняющий город, за двенадцать верст, где у монастыря большие леса. В окрестностях бродят шайки бандитов, в самом городе притаились предатели-белогвардейцы. Оставить город без охраны рискованно, но и без топлива нельзя. Партком склоняется в сторону риска. Пользуясь отсутствием батальона, белогвардейцы овладевают временно городом, зверски убивают руководителей парторганизации. Подоспевший батальон ликвидирует восстание. Красота этой повести, как сказано,—в проникающем ее моральном чувстве, в изображении героизма, не сознающего себя героизмом. Подвиг, свидетельствующий о величайшей моральной силе, воспринимается, как текущее дело. Мы присутствуем в «лаборатории» революции, внутри цирка, здания, на которое боязливо поглядывает притаившийся город. В этом цирке кипит работа с утра до вечера и непрерывно заседают главари партии. И, раз решение принято, небольшие кадры «авангарда» развивают беспрецедентную энергию.

Завтра под руководством комиссии волею партии начнется работа.

Завтра в газете передовая каждому будет кричать об опасности голода, о необходимости действия.

Завтра на митингах и собраниях военкомы и агитаторы расскажут внимательным красноармейцам о том, что, если хотя бы они видят поля засеянными, нужно пойти и рубить дрова.

Завтра Зиман со всех складов соберет вилы и топоры, а коммунальное хозяйство мобилизует подводы.

Завтра Робейко с великой мукой для горла будет в профсовете проводить предложение о мобилизации членов союза, и на предприятиях общие собрания рабочих будут выносить неуклюжие резолюции... Завтра...

---

Повесть Либединского не только впервые приводит нас в лабораторию, где определяются пути движения. Он смотрит глазами война на мир тех праведников, которыми земля держится, без которых необъяснимо было бы длительное торжество кажущегося хаоса над соединенными организованными силами старого мира.

Еще за день до мятежа неутомимые, всегда торопящиеся и действенные, они лежат с изуродованными лицами, бездыханные, — и Зиман, и Робейко, и Климин, и Стальмахов. Подвижники. Но не это самое сильное в повести, не эти картины, потрясающие простотой и правдивостью изображения.

## II

«Кто дал меньше жизни, тот не дал ничего», — думает Бранд. Даже в таком беззаветном отречении скрыта по существу гордость личности, стремящейся и в смерти своей прежде всего выявить свою сущность. Не такова мораль, руководящая армией. Не только смертью, голодом и мукой, как таковыми, измеряется моральная ценность личности, а, прежде всего, продуктивностью этой смерти и этого голода, и этой муки, чувством революции, чутьем ее пользы, которое живет в душе, расчетом, который стал инстинктом. Не всегда высший подвиг — пасть на поле битвы. Иногда еще выше подвиг — победить в себе гордость смерти, отступить, если нужно.

Картины смерти и подвига у Либединского захватывают. Но «свое» современное — в моментах, когда мы сталкиваемся с рассуждениями вроде выше приведенного о пайке. Есть нечто выше жертвы. Это — отсутствие способности чувствовать свою жертву.

Они лежат изуродованные, бездыханные, но их преемники ведут дело дальше, уже на холодных весах взвешивают ценность этих смертей, рассчитывают прибыли и убытки дела революции.

Нельзя было выводить [батальон из города, мы были правы с тобою, — говорит один из уцелевших товарищей, Караулов, который вместе с другими подал накануне свой голос против вывода батальона.

И вот что ответил этот другой:

«Нет, Караулов, мы оба ошиблись. Видишь вон дрова везут. Эти дрова дадут нам зерно. Ведь для мужицких восстаний зерно, что вода для огня. Недаром погибли товарищи. Нам теперь труднее будет. В исполкоме осталось девять, а в парткоме — четыре работника. В политотделе нет обоих начальников, а в чека — председателя, заместителя и трех работников. Центр нам подмоги не даст, на него надежда плохая. А работа теперь стала сложнее. Мало зерно доставить. Нужно к посевной кампании готовиться... А бандиты еще не ликвидированы. Выходит, что больше нагрузки взять надо.

Художественна ли эта повесть? Если художественно то, что заставляет взглянуть на окружающие явления новыми глазами, то она художественна. Если задачи искусства — экономизировать силы нашего познания, приводить к единству и стройности хаос мыслей, царящий в какой-нибудь области явлений, то она — произведение искусства. В ней есть диалектика революции. В ней тезис, пришедший к своему отрицанию, сливается с ним в высшем синтезе. Великий тезис революции — личность, освобожденная для творчества, и эта личность отрицает себя во имя целого, приходит к своему уничтожению во имя совершенной организации общества. В повести Лебединского она просветляется в слиянии с целым, достигает высшей творческой силы в самом растворении своем в идее человечества.

### III

Именно Лебединскому более всего подходит разработка той темы, на которой построена его другая повесть — «Комиссары». Эта тема — столкновение двух миров, двух стихий, борющихся в душе человека: мещанства и героизма. Автор переносит нас в эпоху нэпа, когда эта коллизия стала, быть-может, самой значительной проблемой наших дней. Закончилось высшее напряжение сил, небывалое в истории сжатие человеческой личности сменилось тягой к обывательскому комфорту, «отгремела гражданская, вихри ее отшумели в Крыму и у польской границы, сколыхнули Сибирь, забурлили в Кронштадте, и как будто затихли». Гарнизоны и отдельные части «раздольного округа»,



---

в котором происходит действие повести, разбросаны по горным еде теплящим машинную жизнь заводам да по степным бездорожным городишкам, в которых без рабочей опоры маятся одинокие умы. Отгремела гражданская, а, вместе с тем упал и дух военкомов, «ребят армейской закалки». Грязной тучей обволакивает мешанство великую страну, свидетельницу примеров величайшего героизма, проникает растлевающее дыхание и в военную среду.

Повесть начинается разговором командующего округом Власова и его помощника Ефима Розова. Оба они обеспокоены симптомами усталости. Недавние герои теряют свой военный закал. Кто женился на купчихе или на поповне, многие пьянствуют. Кто обзавелся хозяйством и утратил пролетарский дух. Нет былого боевого огня. Агитпропробота стала более сложной и ответственной с переходом к мирным формам, и у большинства из политсостава не хватает знаний, чтобы справиться с ней. Люди, командовавшие бригадами и дивизиями, часто не в состоянии работать с полком в новых условиях. Ребята хорошие, но скучают. И даже командующий округом Власов, как бы с удивлением, почувствовал, что и в его душу заползает эта скука. Для того, чтобы поднять дух политсостава, пересмотреть всех этих комиссаров, знакомых по армии, проверить, как старое оружие: не заржавели ли, не дали ли трещин, не зазубрились ли, — Розов предлагает учредить временные курсы и вызвать на них со всего края политсостав. Военная дисциплина, учеба политическая и общеобразовательная должна будет оторвать от комфорта успокоившихся, вернуть их к тем настроениям, которые владели ими на полях сражения.

Замысел Розова и сопротивление политсостава, — на этом построена вся повесть. Но в эту, казалось бы, случайную и несложную тему автор вложил глубокое содержание. Борьба, завязавшаяся между ними, далеко перерастает свои непосредственные границы. Автор оказывается тонким психологом: на частном случае он умеет осветить психологическую проблему крупного значения, выявить столкновение противоположных чувств в человеческой личности, тот конфликт, который периодически возникает в эпохи больших исторических переломов.

---

Перед нами целая галерея типов, вереница образов; каждая фигура — тонко очерченная индивидуальность, каждый по-своему реагирует на затею Розова. Мы видим, как суровый дух революции вступает в борьбу с духом обывательщины, как борьба эта принимает различные формы, разворачивается на бесконечном количестве психологических фронтов, а главное, как постепенно торжествует военно-революционное сознание над всем тем, что ему противится, как одна за другой отменяются косные силы, влекущие назад. Самое замечательное в этой повести — серьезное отношение к поставленному вопросу. Повидимому, эта проблема глубоко захватывает автора, он неустанно ищет ответа на волнующие его мысли. Он, как будто, сам тревожно исследует, хочет разглядеть в сложности событий: «заржавело ли оружие, зазубрилось ли?». Либединский не скрывает, что пишет свои книги не для бескорыстного любования художественными положениями. В каждой своей работе он ставит себе определенную задачу. Но он не тенденциозен в том смысле, что проводит ту или другую идею или подсказывает решение. Он разрешает эту задачу при помощи тщательного изучения фактов и художественного их изображения. В процессе наблюдения над жизнью, в процессе проникновения во внутренний мир героев возникают перед ним ответы.

И другое прекрасное свойство этого автора, — его глубокая вера в торжество высших и нужных сил над силами, стоящими преградой на пути к поступательному движению. И эта вера так же, как и его ответы, — не результат молодого увлечения или непродуманного отношения к жизни. Она оправдана все тем же вдумчивым подходом к фактам и людям, внимательным и строгим отношением к действительности. Автор ищет и находит повсюду свидетельства того, что ему дорого. Он мастерски умеет выявлять факты, говорящие о силе и неугасимости революционного пафоса, который живет в Красной армии, несмотря на все видимые уклонения, но он не выдумывает этих фактов, он не подбирает их нарочито, он ничего не искажает. И если можно говорить об его тенденциозности, то эта тенденциозность заключается в том, что он умеет видеть и умеет показать самое значительное, что после его повести, так ярко озаряющей



то, чего не заметишь без него, еще неколебимее становится вера в правильность пути, намеченного Октябрьской революцией. Повесть Либединского не производила бы такого сильного впечатления, если бы с равной силой не проникал он в природу темных инстинктов, расслабляющих и опошляющих свойств человеческой души, готовых распуститься и восторжествовать в минуты передышки.

Борьба между различными социальными системами, между двумя ставшими лицом к лицу враждебными классами у Либединского переносится в область морали. Для него торжество революции, прежде всего связано с победой высоких моральных начал над началами низкими в человеческой личности. Чем больше присматриваешься к этому писателю, тем больше чувствуешь, что нравственная проблема для него — основная проблема наших дней, и, может-быть, для этих дней он сейчас самый нужный из писателей, потому что волнующие вопросы современности ставит в ту плоскость, в которую поставлены они самым развитием революции. Он как бы хочет сказать, что в настоящую минуту мы уперлись в человека, что дело в честном закаленном характере, что бывают моменты, когда та или другая «надстройка» приобретает первенствующее значение и что для нашего времени такой надстройкой является мораль. Он носит в себе нравственную традицию первых дней революции, ее суровый аскетизм, ее великое отречение от радостей жизни, ее титанические притязания; и в дни, когда эти традиции подвергнуты жестоким испытаниям и колебаниям, он находит повсюду свидетельства их живучей силы, повсюду видит их торжество над силами противоположными.

Галерея типов, выведенная Либединским, чрезвычайно разнообразна. Это разные градации одного и того же образа, начиная с низших, во внутреннем мире которых царит властно мещанство, и кончая высшими, где даже в малейшей степени не поколеблена самоотверженная преданность идее. Курсы — тот стержень, который дает единство всему этому разнообразию. История Миндлова — современная драма, это — душевный мир, безжалостно раздавленный колесом истории. Миндлов болен, врач категорически приказал ему уехать в отпуск, иначе его



---

ждет сумасшествие и смерть от малокровия и туберкулеза. Во всем округе знают, что раз Миндлов просит отпуска — значит, плохо. Этот неутомимый работник, истощивший свои силы на тяжелой службе, позволит себе отдых только тогда, когда дальнейшая работа стала для него физически невозможной. Обязанностей у него как будто немного. Восемь часов в политотделе — пустяки, но разве обязанность заставляет ночи просиживать на всех заседаниях? Разве обязанность гонит в каждую часть губернии еще и еще раз проверять политшколы? Разве по обязанности и часы свободы отдаешь Марксу. И Миндлов на этот раз с чистой совестью и с радостью думает о предстоящем двухмесячном отпуске. Через две-три недели теплая ладонь Лии будет гладить его лицо. Эта теплая ладонь столько раз проходила по лбу и щекам к шее, что все движения ее заранее можно предсказать, как знакомую и простую радостную песню.

Но курсы — путь к спасению, могучий рычаг, который двинет волю округа к неизбежной цели. Курсы заставят снова каждого почувствовать себя составной пружиной могучей военной машины. Они после великих побед, одержанных на военных фронтах, будут той крепостью, которая поможет одержать новую высокую победу, победу психологическую. С тех пор, как исчез внешний враг, перед Красной армией возник новый враг, не менее опасный. Перед ним готовы дрогнуть мужественные сердца, ровного биения которых не могли поколебать вооруженные армии врагов. Для победы над этим противником нужны не меньшие жертвы, чем на войне. Воин должен жертвовать своей жизнью, когда опасность угрожает армии. И Миндлова нельзя отпустить, потому что никого другого нет на должности помощника заведующего курсами. Миндлов — большевик, цельный, с закаленным характером. Розов — его друг, Розов знает, что Миндлов болен, но, ведь, в пылу сражения не справляются не только о болезни, но и о жизни человека. Сцена, где Розов сообщает Миндлову о состоявшемся решении, стоит того, чтобы привести ее целиком. Миндлов приходит с рапортом об отпуске к Розову.

— Вот прочти. Здесь обо всем. Политотдел ликвидирован и...  
На два месяца.

Розов прочел и, не поднимая глаз от письменного стола, начал рыться в бумагах. У него чуть-чуть дрожат губы и веки опущенных глаз. Нашел и протянул Иосифу лист бумаги.

— Прочти в конце, — сказал он.

Теперь лицо его застыло, и глаза спокойно смотрят сквозь Иосифа, точно не видя его.

— Что это?

И тревога холодит плечи и колени Миндлова.

— Конец смотри.

«Товарища Миндлова, Иосифа — начальником учебно-политической части и заместителем». Миндлов машинально встал и прочел весь приказ.

— Возьми рапорт обратно, Иосиф. Мне не хочется на нем резолюцию отказа. Кроме тебя, назначить некого.

Глух и невнятен голос Розова, и опять у него задрожали веки и губы.

Какое мучительное лицо. Но взять рапорт назад — это значит признать, что нельзя было его подавать.

— Ты разве не знаешь, Ефим, что если я такой рапорт подаю, то я знаю, что так надо.

— А я... иначе... поступить не могу. Возьми, Иосиф, обратно рапорт, я прошу тебя.

— Товарищ Розов, я в официальном порядке требую резолюции на свой рапорт. Официально.

Розов повторил это последнее слово Миндлова, и оно, точно стеклянной стеной, встало между ними. Розов перечитал рапорт и лицо его непреклонно застыло. С букв рапорта в глаза Иосифу перевел он свой взгляд, блестящий, жестоко-холодный, как у птицы.

— Официально. Думаешь, меня не хватает.

И, разбрызгивая по рапорту мелкие капли красных чернил, он написал: «отказать».

На подписи перо сломалось.

— Завтра, товарищ Миндлов, приступайте к вашим обязанностям.

Миндлов — одну, другую секунду простоял неподвижно. Когда же почувствовал он, что лопнули все провода, скреплявшие воедино их жизни, и осталась только щемящая обидная боль, он запотевшими пальцами взял рапорт и вышел из кабинета.

#### IV

Так, больной, надорвавшийся Миндлов, вместо отдыха и лечения на берегу солнечного моря, принял снова «на наможенный хребет упряжку работы». Быстро втянулся и забыл



---

про свою болезнь. Фронт идеологический не должен отличаться от военного. И там усталому бойцу [часто кажется, что не может подняться с отдыха, но застрекочут барабаны, снимаются палатки, раздастся приказ командира. И встаешь, и завертываешь ногу в обмотку, и берешь винтовку, и идешь дальше. Длится поход, размяты опухшие ступни, идешь уже в ногу — мурлычешь беззаботно печальную армейскую песню. Так Миндлов. Казалось ему, упадет в первый час, а вот миновал уже день, первый день работы, и только к полночи, сдав готовую программу и вдоволь по поводу ее наспорившись с начальником курсов, вышел он на двор.

В истории Миндлова еще не целиком раскрывается великая сила целого, которое красною нитью проходит через самые разнообразные моменты жизни. Большую трудность представляет борьба с самими комиссарами, вызванными на курсы. Курсы возбудили и глухой и открытый ропот среди людей, прославившихся своими заслугами на различных фронтах, награжденных орденами Красного Знамени, почувствовавших оскорбление и увидевших унижение в необходимости учиться и подчиняться дисциплине. «Колчака били, достаточно учены были, а теперь оказались недоучившимися». Во главе недовольных стоит губвоенком Смирнов. В прошлом — военная слава. Три года гоняли с фронта на фронт в самые опасные места: где плохо было, где дивизию разложили, где партизаны политработников убивали — всюду его посылали, Смирнова, командиром корпуса. Не хотелось ему оставлять удобную квартиру, захваченную после бегства местного богатея-кушца, в которой мягкие турецкие диваны и пестрые подушки. Взял Смирнов офицерскую жену, очевидно, впопыхах во время бегства брошенную мужем; своя — прискучившая деревенщина, — в покосившейся избе средне-русской губернии. А у офицерши глаза голубого веселого ситчика, капризные и веселые губы, кудряшки на голове всегда плещутся от смеха.

Смирнов, Дехтерев, Помадочкин и ряд других с различными чувствами, но все одинаково враждебно, подошли к идее курсов. Но и эти различные, несходные натуры постепенно нивелируются и вводятся в русло общего движения, Либединский обнаружи-



вадет много мастерства в тех сценах, в которых борьба между двумя сталкивающимися чувствами завершается победой дисциплины над центробежными силами. К числу таких художественных сцен принадлежит описание первого дня строевых занятий. Недружно приступили к ним заслуженные бойцы. Смирнов надел шашку, как знак заслуги перед революцией, Арефьев, начальник курсов, потребовал, чтобы он снял ее. Двести глаз следили за единоборством между Арефьевым и Смирновым. Автор сумел сделать эту сцену чрезвычайно драматической.

— Это как же понимать, товарищ Арефьев. Выходит, вы нас разжаловали от наших званий и заслуг.

— Не разговаривать в строю, — запоздало закричал начстрой.

— Товарищ Смирнов, три шага вперед, — скомандовал коротко, весь внутренне напрягшийся пружиной, Арефьев.

Смирнов пошевелился и опять застыл на месте.

«Не выйдет. Нет, должен выйти. Должен».

«Это мне — командовать. А я — не выйду. Как же не выйти? Ведь, команда была. Но обида-то какая?..»

Крепит Арефьева и ослабляет Смирнова одна и та же сила, частицами которой они оба являются.

Но Арефьев наливается тяжестью, как сжимающийся для удара кулак, потому что знает он, что его приказ идет от лица этой силы. Смирнов же — наоборот. Чувствует он, что если послушается, то эта сила, частью которой он был, обрушится на него и его уничтожит. Опять пошевелился Смирнов, подумал и тяжело, с нарочитой развалкой, двинулся вперед и поставил себя дерзко перед Арефьевым. Жидким солнцем налился золотой темляк его шашки, и на груди алеет пышный бант Красного Знамени.

— Только в уважение ваших заслуг не отправляю я вас на губу, товарищ Смирнов... А надо б отправить за нарушение устава. Но всякого... кто такое... повторит... я немедленно арестую. Вас же я вывел из строя, чтоб вы могли говорить, не нарушая устава. Что вы хотели сказать?

Два мира отражены в этой сцене: силы прошлого, которые воскресают, оживают и бродят даже в героических сердцах, как только замолкает гром битвы, силы, напоминающие о праве человека на покой и комфорт. Мысли о заслугах, как о привилегии, — и рядом с этим та мораль и то сознание, которые вызваны к жизни революцией, мысли о том, что плох высший, не умеющий снова стать низшим, плох командир, который

---

в любой момент не может превратиться в дисциплинированного рядового бойца, что заслуга — право на большую работу, а не на успокоение. И когда одна за другой проносятся перед читателем подобные сцены, битвы характеров, поединки моральных систем, начинает казаться, что повесть Либединского — не повесть о частном инциденте, разыгравшемся в штабе округа; это — рассказ о боях, более сложных, более значительных, в которых рождается новый человек с новым нравственным мироощущением, с новыми представлениями о долге, не тот человек, который уже теперь, в нашем несовершенном, построенном на вражде и эксплуатации, обществе хочет жить радостной и полной жизнью будущего, а тот, который принял на себя крестную муку пути, ведущего к этому будущему, знает, что никому не дано права на человеческое существование здесь, в обществе, еще не вступившем в землю обетованную, и видит в преодолении этого пути свою творческую радость.

Картина получается величественная. Мы видим, как день ото дня все туже стягивает курсы арэфьевский зажим, как одни начинают подчиняться ему, хотя и без удовольствия, но сознанием и волей вводя себя в военную муштру, другие, старые солдаты, с каким-то привычным удовлетворением входят в полузабытый ритм военной жизни, ощущая, как своя воля отдается начальнику, словно отставной, невольно ровняющий свой шаг и развертывающий плечи при звуке барабана; наконец, третьи, с чувством протеста, ощущая, арэфьевскую дисциплину, как утерю завоеваний Октябрьской революции, той солдатской свободы, из которой вырос их своеобразный большевизм, — и все вместе, со всем этим разнообразием настроений, образуют единую монолитную силу, действующую в указанном ей направлении, повинующуюся непреложному железному закону.

В повести Либединского Красная армия предстает нам, как великая моральная сила, как суровая школа, в которой укрепляется поколебленное революционное сознание, возникает нравственный закал, без которого не может быть поступательного шествия революции. Либединский умеет подойти к армии с этой стороны, — вот почему в его повестях всегда есть глубокий захват, уносящий от злободневного к мыслям большого масштаба.

---

Он облюбовал одну из множества так-называемых «духовных» надстроек — сферу морали, он исследует ее, как художник чуткой совести, пытливого ума, и освещает смысл современных исторических событий под тем углом зрения, под которым редко смотрит на них писатель в периоды решительной борьбы.



## ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. КОСТЕРИН

### I

В предыдущих главах мы говорили о писателях, не только принявших Октябрьскую революцию, но и проникнутых новым мироощущением, которое возникло вместе с Октябрем. Но гражданская война нашла свое отражение и у так-называемых «попутчиков». Здесь — иной подход. Попутчики, это — писатели, по большей части, уходящие корнями в старую Русь с ее веками сложившимся укладом. Они — не враги пролетариата, того материалистического и коллективистского мирозерцания, под знаменем которого разворачивается Октябрьская революция. Но они своим художественным инстинктом органически связаны с теми силами, задерживающими и косными, сломить которые предстоит революции.

В их произведениях эти силы вырастают в грозное препятствие на пути движения к новым формам жизни. Но именно благодаря попутчикам есть возможность глубоко проникнуть в природу этих сил. Попутчики, по преимуществу, — изобразители деревни, ее обычаев, верований, ее предрассудков, религиозного и сектантского движения, широко распространенного в глухих углах огромного Союза. Попутчик, это — почти синоним другого термина, также пущенного в оборот Троцким, — «мужиковствующий». Попутчики смотрят на революцию глазами мужика. Нельзя сказать, чтобы эта точка зрения была для них истиной, но, в большинстве случаев, настоящие художники-попутчики, сливаются с тем миром идей и представлений, который рожден деревенским укладом. Отражение революции в деревне, — быть-может, самая значительная тема наших дней.

Было время, когда попутчики встретили жестокую враждебную критику. Их обвиняли в том, что они не поняли революции, что если они и были захвачены ею и сочувствовали ей, то в их сочувствии было больше от Махно, чем от Маркса. Они улавливали в ней и любили ее анархическую стадию развития, преимущественно первые моменты революционного взрыва, но не могли понять ее глубоко продуманного расчета. В этих упреках было много справедливого. Но, по мере того, как революция все более ставит в поле своего внимания деревню, мы лишний раз убеждаемся, что вдохновение художника нередко предупреждает анализ социолога и политического деятеля. В изображении попутчиков деревня уже выявляла то своеобразие свое, которое становится теперь предметом тщательного исследования при определении пути к построению новых форм жизни.

Литература попутчиков дает нам в этом отношении богатейший материал. Она показывает все мельчайшие явления, которыми сопровождался и продолжает сопровождаться сложный процесс встречи Октября и деревни, четкой программы действий, с одной стороны, темноты и путаницы в понятиях, — с другой. Быть-может, еще более драгоценный материал дает она для усвоения смысла гражданской войны, для понимания того процесса, путем которого из партизанских крестьянских масс, руководимых темным, но верным инстинктом, стали складываться стройные кадры Красной армии. Читая попутчиков, видишь, словно хаос, волнующиеся туманности, в которых постепенно проясняются линии и фигуры, откладываются в естественные комбинации отдельные элементы.

Всеволод Иванов принадлежит к числу самых колоритных и крепких представителей этой литературы. В его рассказах: «Бронепоезд № 14 — 69», «Партизаны», «Цветные ветра» и др., изображены картины гражданской войны в Сибири. Немногие писатели умеют показать так ярко крепость деревенского уклада. Даже после Толстого, Бунина и Чехова Всеволод Иванов является оригинальным бытописателем деревни с совершенно новым подходом к ней. В нем не осталось ничего интеллигентского. Это — писатель, который смотрит на крестьянина не глазами



---

глубоко просвещенного, гуманного носителя передовых либеральных идей. Это — писатель, который говорит о деревне ее собственным языком и смотрит на весь мир ее глазами.

Из какой же среды вербуются те партизанские отряды, из которых рано или поздно должна вырасти монолитная вооруженная сила, идущая впереди революционного человечества к новой жизни? Это — та среда, в которой рассказывают, что скоро брюхатых мобилизовать будут, так как народу не хватает, где убеждены, что царь послал большевиков для того, чтобы народу легче было, а может-быть, не царь, а наследник, да и вообще, не все ли равно кто. В рассказе «Бронепоезд № 14 — 69» мужики сообщают друг другу, что американский министр предлагал семьсот миллионов председателю подпольного революционного комитета за то, чтобы он перешел в американскую веру, но последний гордо ответил: «Мы вас в свой даром не возьмем».

## II

Много нареканий и, быть-может, больше всего вызывали попутчики, когда раскрывали мотивы, побуждавшие крестьянство составлять партизанские отряды и присоединяться к большевикам. На этом стоит особенно подробно остановиться, так как именно здесь раскрывается великая тайна того, каким образом бесконечно различные народности, люди, отделенные друг от друга несходством языков, различием климатов и почвы, противоречиями интересов, с обидами и жалобами многочисленными, как песчинки на берегу морском, — сознательно и бессознательно идут к тому единству, которое воплотится позднее в огромный Союз Республик. Разные побуждения гонят крестьян с насиженных мест. В одном поселке подрались с японцами, японец ушел, отбили, но все знают, что он придет завтра, и вот складывают крестьяне свое «барахлишко» и идут на сопки к партизанам. Делается это просто, собирают жители пожитки в телеги, мальчишки выгоняют скот, и движется пестрый обоз с бабами и детьми. Идут другие, потому что боятся, что землю отнимут. Идут не только русские, но и китайцы, и американцы, все, кому современная жизнь, построенная на эксплуатации и наси-



ли, не отводит места в существующем строе. В рассказ «Бронепоезд № 14 — 69» вставлен замечательный эпизод о китайце Син-Бин-У. Это — длинная история о том, как он возненавидел японцев. У Син-Бин-У была жена из фамилии Е, крепкая манза (хижина), в манзе крашеные теплые шары и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы (род китайского проса). Но в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло. Только щека оказалась проколота штыком. Син-Бин-У раньше читал китайские стихи, плел цыновки в город, но теперь бросил книгу в колодезь, забыл цыновки и ушел с русскими на путь восстаний.

И был он так же мало похож на того американца, которого распропагандировали партизаны, и на них самих, как мало были похожи друг на друга они сами, сошедшие с разных концов Сибири. И складывал он свои легенды о русской революции, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен-Хуа. Лицо у девушки было цвета корня жень-шеня, и пищей ее было у-вей-йзы, петушьи гребешки; ма-жу, грибы величиною с зрачок; чжен-цзай-дай. Весьма было много всего этого, и весьма все это было вкусно. Но красный Дракон взял у девушки Чен-Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский.

Когда потребовалось лечь на рельсы и пожертвовать жизнью для того, чтобы задержать на мгновение бронепоезд белых, это сделал Син-Бин-У.

Сам вождь партизанского отряда Никита Вершинин, рыбак «больших поколений», пришел сюда, потому что тосковал он без моря, — и жизнь для него была вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет. В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про его «вершининское» участие и, когда волость решила идти на японцев и атамановцев, — председателем ревштаба выбрали его. Этнографический элемент, притчи, поговорки и песни, влетающие в повествования Всеволода Иванова о партизанах, придают им не только еще больше художественной яркости, но и увеличивают их социальную значимость. Они раскрывают всю глубину значения «устоев», позволяют разглядеть процесс «встречи» двух миров в самых

ее значительных моментах. Из пестрых интересов складывается та сила, которая до образования Красной армии стихийно совершает первые подвиги для защиты революции. Фабула рассказа «Бронепоезда № 14—69» несложна. Партизанским отрядам необходимо поддержать восстание, которое готовится в городе. Для этого им предстоит остановить белогвардейский бронепоезд, идущий под командой капитана Незеласова на выручку городу. Бронепоезд вооружен пушками и пулеметами, и, если ему удастся достигнуть города, восстание будет подавлено. Несколько смельчаков берут на себя взорвать мост, лежащий на пути поезда, но взрыв, благодаря неопытности партизан, происходит раньше, чем нужно, смельчаки гибнут, и мост остается невредимым. Есть другой выход — положить на рельсы человека. По существующим правилам, перерезав труп, поезд останавливается для составления протокола. Китаец, как сказано выше, берет на себя эту миссию и этим спасает судьбу партизанского дела. В борьбе между регулярным войском, дисциплинированным, с вооружением новейшего образца, партизаны, часто ободренные, снабженные старыми ружьями, лишённые дисциплины, побеждают только каким-то роковым упрямством, в котором есть что-то неотвратимое, подчиненное высшему закону. Всеволод Иванов умеет мастерски дать почувствовать роль стихии в такие исторические моменты. Много нареканий на автора вызвал другой из упомянутых рассказов — «Партизаны». Здесь причиной восстания послужил незначительный случай. Антон Селезнев, высокий и строгий мужик лет пятидесяти, угощал пришедших на работу к монастырю парней из другой деревни, потому что считался всех богаче в селе и был старостой церкви. Не жалели самогону, пили, но среди пира явился отряд милиции, произвел обыск и открыл аппарат для курения самогонки. За этим следует замечательная сцена, одна из лучших страниц в бытовой литературе нашей деревни.

Тут же стоял и боченок с невыпитой самогонкой. Милиционер вытаскивал из кармана бумагу и чернильницу и начал писать протокол.

В толпе переговаривались:

— Ишь, хотят, чтобы цареву водку пили.

— Торговлю отбивать, дескать...

— И не говори.

Молоденький милиционер поджал губы и ссупил брови.

— Ишь ты, задело.

— Не пьют.

Составив протокол, милиционер разбил ружьем горшки, прободал штыком холодильник и сломал медные трубки.

Мужики молчали.

Милиционер опрокинул на землю самогонку. Образовалась лужица, блеснула темноватая крыша пригона, и водку впитала земля.

Запахло горячим хлебом.

— Вот паскуда, — крикнул кто-то из толпы.

Милиционеру было жалко и самогонки и себя, совершающего такие нехорошие поступки, он рассердился:

— Молчать, чалдонье.

Милиционер помоложе ухватился за ружье:

— Всех переарестуем.

Толпа задышала быстрее и нажала на милиционеров. Им было тесно, старший милиционер начал ругаться по-матерному, второй испуганно глядел в пьяные, быстро мигающие лица.

Мужики нажимали.

В груди и бока милиционерам уперлись чьи-то твердые локти и руки. Пахло самогонкой и еще чем-то нехорошим, кажется, прелым камышом от повети.

Затрещал коробок у ворот.

Старший милиционер попробовал пойти — не пускают. Кругом глаза и теплое человеческое дыхание.

Милиционер помоложе вскрикнул: раздался его голос — короткий и немного с хрипотцой. Его товарищ вдруг длинно — матерком каторжан — выругался — и в бога, и в мать, и в живот.

Кто-то из толпы — вертлявый и маленький — выскочил и ударил его в зубы.

Милиционер горласто крикнул и выстрелил подряд три раза в толпу из револьвера.

Охнули.

Толпа расстушилась.

Милиционеры, согнувшись, побежали к воротам.

Лица их вспотели и дрябло морщились и иссиня побелели, как известка.

Они вскочили в коробок.

Мальчишка-кучер гикнул.

Беспалых замахах руками:



— У-лю-лю-ю...

И, сорвав с плеча ружье, выстрелил вслед им сразу из обоих стволов.

Один из милиционеров мотнул головой и вырнул в коробок».

### III

Этот инцидент послужил началом большого партизанского движения. Крестьяне, спохватившись, поняли, что убийство милиционера не пройдет им даром, и решили уйти группой в горы: «...уйти надо. Расстреляют колчаки-то... нам с этой властью не венчаться... наша власть советская, хрестьянская». Именно эта сцена вызвала особенно ожесточенную критику. Выходило так, что в лице советской власти крестьянство, как будто, видело возможность курения самогона, что такое великое движение, как массовые восстания крестьян против Колчака, имело своим источником не глубоко верный инстинкт народа, не сознательное отношение к событиям и понимание своих интересов, а, напротив того, темные инстинкты невежества и распушенности. В действительности, быть-может, именно эти правдивые сцены как раз и выясняют огромное значение партизанского движения. Автор ничего не хочет идеализировать, он не приписывает крестьянской массе того, чего у нее нет. Всякая революция становится всенародной, если она опирается на массы данного уровня развития, если она свободна от доктринерства и теоретических построений, не имеющих под собой почвы в народе. Стоило только группе крестьян образовать первый отряд, как он сделался центром, вокруг которого стала быстро сосредоточиваться вся неудовлетворенность, все обиды и страдания эксплуатируемого народа. «Теперь к нам народ повалит — увидят, что за дело как следует взялись». Приходили все недовольные, приходили из близких и дальних деревень солдаты германской войны, приходили в пешую, с котомками и с берданками, некоторые даже с винтовками. Выбрали Селезнева начальником, взяли учителя, потому что приказы надо писать, а грамотного человека не было. Писали от имени правительства, хотя никто не имел представления, от имени какого правительства; решили, когда наберется доста-

точно сил, «мобилизовать округу». Сами собой складывались и правила, и дисциплина. Все мелочи организации устанавливались самой жизнью, подсказывались обычаями и психологией крестьянства, и отряд был назван «первым партизанским отрядом Антона Селезнева», потому что «мужик имя любит». Мы присутствуем в самой лаборатории естественного преобразования нестройных партизанских отрядов в скованные дисциплиной кадры Красной армии. Видим, как «люди строжали», отряд становился крупнее, «осанка у всех партизан стала слегка сгорбленная, бросили пить, и даже Беспалых, если выпивал, то, дожась спать, стыдливо отворачивался к стенке».

Еще более глубоко захватывает автор эту тему о «встрече» векового уклада деревни с революцией в рассказе «Цветные ветры». И здесь та же темнота, и возвращающиеся с войны солдаты так и не могут рассказать, с кем воевали и за что воевали: «Много воевали — с немцем, с австрийцем воевали, с Калединым... всех царей перебили, себя били, а теперь с чехами воюем. Теперь в Расей-то большевики...» В центре рассказа — Калистрат Ефимович, старый крестьянин, ищущий веры и не могущий ее найти. И не только он один, все кругом ищут новой веры, ищет ее и отец Сидор, местный священник, ищут русские крестьяне, ищут и киргизы. И их шаман Апо. «Время тяжелое — всех богов собирать надо».

Всеволод Иванов переносит нас в ту среду, где возникало мировоззрение, дававшее повод нашим писателям предреволюционной эпохи вплоть до Андрея Белого искать там, в глухих углах России, новой правды и противопоставлять ее Европе. Это — мир сектантов и суеверий. Все колеблется в своей старой вере и томится в поисках новых богов. Поп Сидор приходит к Калистрату, шаман — к попу Сидору:

«Продай бога. Сколько кобыл возьмешь? У меня кобыл много. Баран хочешь — баран могу... баба тебе надо, десять молодых баб дадим... шаман будешь, ходи с богом своим».

Так смешалось все, и таким образом из этой дикой амальгамы религии, невежества, привязанности к своей земле, суеверий и смутно осознанной социальной правды вырастает партизанское движение.



Сыновья Калистрата решили воспользоваться религиозными исканиями старика, построили ему келью, распустили слух о его святости, благо, народ в вере колеблется. Автор очень хорошо изображает, как Калистрат попадает в целители и пророки, несмотря на то, что сам отказывается от этой роли,—он гонит от себя паломников, но уже трудно остановить уверовавшие массы. Шли больные, падучие, сглаженные. Сколько их в этих осенних ясных горах! Из каких падин-расщелин, какими ветрами темными вынесло? Сначала по-двое, по-трое, а потом десятками стали приходиться. Торопливо крестясь, вползали убогие на скрипучее крыльцо, платя дань жадным сыновьям Калистрата, обиравшим народ без его ведома. Как ни гнал их Калистрат, как ни кричал, что нет у него никакой веры и что ничего никому дать он не может, народ требовал исцеления и молитвы, и слава о новой вере, созданной Калистратом, широко распространилась кругом.

И вот какими-то причудливыми извилистыми путями с разных концов пришли друг к другу Калистрат и революция. Здесь ее сделали венгерец Шлюссер, серб Микеша и русский большевик Никитин, длинный, молчаливый, твердый, как сталь. Прятались они в горах, спасаясь от преследования атамановцев. Пришли мужики поговорить с ними. Причина восстания в том, что парней стали требовать служить Колчаку. Не хотели мужики, потому он «чех-собака» и земли все хочет отбирать. Делегаты так изложили Никитину причины своего обращения к нему:

— Павел и то, бае, — вот, мол, есть. Поднимай восстанью. Я и говорю; «айда, ребята, в чернь, в тайгу, выходит — восстание падить». Ладно. А они мне говорят — «хорошо, мол, а только коли придут настоящи-то большаки и не поверют — брешете — скажут, и никаких». Опять, говорю, Омск заберем али другой город — чего там делать будем? Они мне говорят: «товары отыдем — краснова товару нету». Ладна. А только я говорю: без большадкого правления наша погибеть. Давай, мол, из камню большаков к восстанью ташить.

#### IV

Сюда, когда образовались партизанские отряды, и отправился Калистрат. Все недовольные шли туда по разным причинам.



Он ушел, потому что ему «итти некуда», потому что сызмальства всюду перебивал, по баптистам ходил, всем богам молился, потому что сам не знает, какого ему бога надо, потому что в сорок лет «жизнь разбирать стал и до сего дня не разобрался», поверил странникам, которые до войны шли селами и разные чудеса рассказывали, сам пошел пешком, прошел до Екатеринбурга, может-быть, три тысячи верст, но везде оказалась такая же земля, народ такой же везде злой, не понравилось ему, вернулся назад и забыл, будто и не был нигде.

Есть глубокий смысл в том, на чем сошлись твердый, как сталь, большевик Никитин и тоскующий по вере старый мужик Калистрат Ефимович. Когда Калистрат попросился поехать на заимку, Никитин сухо улыбнулся, и между ними произошел следующий разговор:

— Поезжай. По бабе скучаешь?

— Мягко ступая, отошел от него Калистрат Ефимыч. Лицо строгое, и как кусты над оврагом, нависли брови.

— И по бабе скучать не всякий умеет. Ты, поди, не скучаш?

— Нет.

— Тоже зря. Надо о чем-нибудь скучать.

— Я скучаю.

— Знаю.

— Медленно и лениво зевнул.

— Ты, Никитин, по человеку скучаш, а я по вере... Тебе легче,— у тебя человек-то под рукой.

И, поглаживая прямую поясницу, прошелся по комнате. На опрокинутых партах густо лежала синяя пыль. Сурово, неустанно шевелили деревья стены школы.

— Около вас-то, Никитин, я разговаривать учусь. А только нет у вас каково-то гвоздя в душе...

— Какого?

— самого главного. Может-быть, на котором подпорка держится...

Тут тебе народ жалится, а ты, гришь, — бей.

Смысл этой встречи старый и глубокий. Это — давний спор между теми, кто действует во вне, и теми, кто ищет правды внутри себя. Есть между ними сложная и тонкая связь. Не благословляя Толстой никакого насилия — ни царского ни революционного. Но как-то вышло так, что царская Россия преследовала его всю жизнь, а революция почтила и прославила

его. Не признавал он никакой казни — ни казни от руки суда, ни казни террористов. Но выходило так, что возвышал он свое мощное слово против казни царской и был снисходителен к убийцам, казнившим палачей во имя свободы. Есть такое странное сродство между Калистратом, ищущим веры, и Никитиным, знающим, что ему делать и как поступать. Тянет Калистрата, восставшего против убийства, к партизанам, и нужен Калистрат Никитину, совершающему эти убийства... Приведем еще один отрывок из их разговора:

— Дай ты мне раз по сердцу тебе сказать.

— Говори.

— Не давай ты мужикам кыргыз бить. Пушнай посмотрят и разведутся. Не надо кровопролитья-то, парень. Мало крови тебе, ну?

— Мне не надо. Я для всего мира. Последняя кровь.

— Ты это с телеги говори, а в телеге брось... Боя-то с кыргызами не надо, понял? Ну, подерутся, отряды атамановские понаедут — выжгут все горы.

— Не выжгут.

— Парень! Сам знаш — выжгут! Скотов угонют, людей перебьют.

— Потому и еду — не допустить.

— Допустишь ты, Микитин, допустишь.

— Нет.

— Убил ты мово сына... Прощу! Хочешь ту всю округу в восстанью втянуть... вижу!.. Мертвый ты человек, мертвых и призываешь.

Разговор заканчивается тем, что Никитин указал Калистрату на синие глыбы телег и сказал: «Моли, чтоб возвратились».

Было время, когда Калистрат на мгновение нашел, наконец, свою веру, и этой верой оказалась вера Никитина. И тогда он приказал расстрелять целую волость, потому что она не захотела пойти за шестнадцатью другими, которые «хрещены за советскую власть... не держай, коли мир идет». Как-то от своей правды пришел Калистрат к жестокой правде революционной борьбы: «Пришло время — надо убивать по што-то. А по што, не знаю... И Микитин не знат. А убивать приходится». И, когда заныла душа Калистрата по лесам и пашне, заныла после того, как растаяли снега и рождалась розовая земля, —

---

стал просить, чтоб отпустили его, но не пускали долго Калистрата, потому что «надо человека миру». Так и не стал Калистрат Никитиным:

Веру, я думал, поймал, как за кыргызами гнался... Сердце в крови горело — бей!.. За пашню зубом по кишкам рвал. Сердце то, как ягода спелая, думал, ветром этим сорвет, опадет, буду я покоен... как Микитин!.. Нету покоя.

Всеволод Иванов сумел мастерски вывести в лице Калистрата вековую исконную Русь и глубоко вскрыть смысл встречи этой Руси с теми силами, которые явились ломать ее уклад и строить ее жизнь на новых основах. И еще более замечательно, что этот писатель, ушедший корнями в ту, старую Русь, почувал созвучие между тем, что таится в самых скрытых тайниках народной души, и тем, что несет с собою революция. И здесь война является тем пылающим горном, в котором отливается эта связь. И армия в ее первых образованиях — тем знаменем, к которому стягиваются эти, казалось бы, столь чуждые друг другу стремления, чтобы в конце концов слиться в общем потоке и направиться к общей цели.

## V

Если Всеволод Иванов явился бытописателем эпохи партизанства, озарил ту стадию в истории гражданской войны, когда из партизанских отрядов формировались первые кадры Красной армии, то А. Костерин, молодой, талантливый писатель, сам участвовавший в бурных потрясениях гражданской войны на Кавказе, в своей повести «Восемнадцатый годочек» освещает еще более ранний период, любопытный момент, который еще ждет своих исследователей. Это — время, когда царская армия потянулась домой, время образования солдатских комитетов, та любопытная эпоха, когда в недрах разложившейся старой армии стали складываться ячейки новой основы, новой дисциплины. Костерин переносит нас на Кавказ в заседание полкового комитета, где только-что получено известие, что большевики захватили власть в Петрограде. Над толпой солдат носятся крылатые слова о том, что у власти друзья народа, рабочие



и крестьяне, и другие давно жданные слова, что довольно воевать, что предложено туркам «замириться» без аннексий и контрибуций.

Всякий, кто помнит это время, может возобновить в своей памяти скептические речи, раздававшиеся тогда, когда велась усиленная пропаганда о мире, опиравшаяся на непосредственный инстинкт, на усталость, на одно только чувство, звавшее домой: разложить армию не долго, не трудно превратить ее в дезорганизованную толпу, подчиняющуюся животному инстинкту страха, но разве это не значит предоставить врагу возможность взять Россию голыми руками, разве повернешь потом обратно разбежавшиеся полки, разве убедишь сражаться за новые идеи того, кому внушили, что дороже всего жизнь, что сражаться бессмысленно; ведь, простая крестьянская масса восприняла эту пропаганду, как проповедь мира вообще, как прекращение всякой войны навсегда; никому не приходило в голову приписать этой измученной толпе высоко развитое сознание, которое побудило бы ее, разрушив дисциплину и побросав оружие, немедленно снова поднять это оружие, подчиниться новой дисциплине и идти в бой, как только на место старых целей будут провозглашены новые. А, между тем, это чудо случилось. Инстинкт крестьянской массы оказался более чутким и правильным, чем все опасения скептиков. Костерин дает нам картину именно этого перелома! «И как значит предложено туркам замириться без аннексий и контрибуций, мы, товарищи, будем приветствовать новую власть и поддержим вплоть до оружия... Это «вплоть до оружия» прозвучало в тот момент в сердцах усталой массы, когда эти сердца трепетали одним желанием, когда в них звучал только один голос — «домой». Октябрьская революция не ошиблась в своем расчете. Солдаты, так легко бросившие оружие, когда их увещевали отказаться от защиты царя и помещиков, схватились за него, когда опасность стала грозить их собственному делу. В картине заседания солдатского комитета, при всем сумбуре мыслей в те дни, чувствуется основная линия, по которой будет разворачиваться сознание масс. И даже эти сорванные с офицеров погоны и эта фраза «собаке собачья смерть» при виде застрелившегося полкового командира, не желавшего «подчиниться нашей власти», и голос оратора на

возгласы «домой» ответившего «сейчас нельзя», этот голос, напоминающий о том, что товарищи «организованы», что нужно сговориться всем комитетам, дивизионному, корпусному и т. д., — все это тонко подмечено автором, все это характеризует психологию тогдашней массы, все это говорит о том, что она не разложилась, что это не было умирание, что только легко и естественно отлетали прогнившие идеи, что народ, напротив, воскресал для новой жизни.

Картинно изображено и самое движение на север, к родным деревням. Рвется армия в бесконечном звоне эшелонов на север, к своим деревням, к родным полосам пашен. Гудко со стоном и скрежетом рвут поезда и рвут одним взлетом вымерший шестидесятиверстный перегон. Но и в этом стихийном движении верный инстинкт ни на минуту не покидает эту массу. Новый враг, разбитый революцией, — казачьи богатеи, уже оправляется и начинает свою работу. Движущаяся к северу армия, крепко держащаяся за свое оружие, раздает, однако, по дороге винтовки в нужные руки. Этот инстинкт руководит отрядом, оставшимся в Грозном, когда решают мириться с Чечней, потому что знают солдаты, что здесь только, в союзе с горцами, может быть спасение революции на Тереке: «та рознь, к которой призывают нас и которую усиленно проводят казачьи верхи, раздует национальную бойню, в огне которой погибнут все революционные начинания». Казалось бы, легко сбить с толку этих недавно еще темных людей, которых царское правительство держало в невежестве, и даже провокация казаков, убивших «святого» с целью вызвать войну с чеченами, быстро разгадана солдатами.

Всего четыре месяца отделяют Октябрь от тех дней, когда происходит действие рассказа, но за эти четыре месяца люди, привыкшие к палке, уже научились управлять, и в первом этаже совета уже ведется тихая и незаметная работа — организация Красной армии. Кто-то ночами под синим абажуром ползает по бумагам, схемам, докладам. Несколько часов отдыха — и вновь у стола, на заседаниях, инструкции, директивы. А скоро пропотевшие заборы кричали плакатами: «Все честные рабочие, крестьяне, солдаты, казаки — в Красную армию... Приемочная комиссия там-то». И когда чеченские бандиты снова начали



свои нападения, уже первые взводы Красной армии рассыпались цепью по кустам, и всю ночь длинная колонна полка занимала позиции. А когда генералы подняли восстание, и объявился на Кубани Деникин, в штабе Красной армии уже шла работа по всем правилам военного искусства, усиленно готовились к грядущим дням, росли и крепили ряды новой армии, устанавливались сношения с центром, из клочков, из обломков, разбросанных повсюду на огромном пространстве бывшей империи, Красная армия творила Великую Республику.

В рассказ вставлен романический эпизод о том, как два молодых солдата Коля Нагаев и Алеша Колосов полюбили двух девушек Надю и Дашу, — два из тех, что прошли царскую тюрьму и когда-то песнями перекликались в «Мясницкой». Преодолели в себе любовь, когда стала она пошлой и грозила убить в них революционеров. Вот отрывки из дневника Колосова:

— Сегодня я убил человека. Нет, не человека, а мародера... Было так: сегодня утром при обходе задержал человека. Обыскали. Нашли женские чулки, сорочку с разными прошивками, лентами, кружевами, ботинки, часы... Спросил: Зачем тебе эта дрянь? Зачем пачкать Красную армию? Его отпаченная скула противно дрожала, глотал слюну. Ответил, что хотел невесте в подарок принести. Позвонил в штаб. Там отказались принять: «Некогда нам возиться с мародерами». Вечером комендант Бочаров сказал: Иди, расстреляй его. Когда выводил, он плакал, дрожал, потными руками хватался за меня. Успокоил его, что веду в тюрьму. Было темно, среди улицы красноармеец из казармы в упор выстрелил ему в затылок. Мародер упал и стал вновь подниматься. Я выстрелил ему в висок из нагана. Минуты две он возился по пыли, хрипел и стонал... Было темно, и я не видел его лица. Вероятно, противное было — трусливый, дрожащий, мародер...

Вышли патроны: наставив пулемет, заставили богачей внести два миллиона на патроны. Три месяца мучительно бился город. Раздирался, клочьями кровавыми отпадали куски от тела города рабочих, города заводов, промыслов. В неравной борьбе истекал кровью. Белые бросали накаченные чихирем полки в атаку, ложились сотнями, тысячами, густо полили кровью землю под городом. А город устал, устали бойцы, изголодались.



Но есть еще силы. Нет патронов — готов патронный завод. Сгорела электростанция — в бане открыли станцию. Нет керосина — готов на спиртном заводе нефтеперегонный завод. Напряжением усталых, обескровленных сил город в начале ноября пошел в атаку на станицу. Десятого убежали белые за Терек.

Сильные люди жили в эти первые месяцы Октября. Много железной воли нужно было, чтобы из усталой солдатской массы строили новую армию, а через армию новую Россию.

## ЛАВРЕНЕВ

### I

Гражданская война сыграла большую роль в возрождении одного литературного жанра, который долгое время находился в упадке, именно, так-называемого, авантюрного романа. Роман приключений должен был, естественно, расцвести в эту эпоху, создавшую самые невероятные положения, самые причудливые встречи.

До чего после великоленного времени бури и натиска у каждого писателя накопилось материала. Так вот и прет, так вот и лезет, — удержу нет. А происходит все это, друзья-читатели, от того, что несколько лет подряд, последовав совету Гейне, мы оглушительно били в барабаны и лобзали маркитанток, а слова прятали внутрь себя, глубоко, бережно, потаенно, как скупой рыцарь свои дукаты. А когда барабаны отгремели, принесли мы собранное домой, а мешок то сразу и прорвался. Вот и сыплется золото неудержимой струей, звенит, хохочет, плачет, и все хочется сразу, чтобы все высказать, ни о чем не забыть, не упустить.

В этих строках характеризовал сущность своего собственного творчества даровитый писатель Лавренев, быть-может, лучший у нас представитель авантюрного романа.

Из фантастического материала, которым так богата гражданская война, он создает фабулы самые необычайные. Он всегда на грани возможного и невозможного, действительности и выдумки, правды и лжи. Читая Лавренева, никогда нельзя сказать, что таких людей, каких выводит он, не бывает, что люди не могут попадать во власть тех невероятных случайностей, в какие они попадают. И тем не менее, и эти люди,

---

и эти случайности так невероятны, что едва веришь в возможность их бытия. Быть-может, это бывает раз в столетие или даже в тысячелетие, но, ведь, и такие революции, как наша, и такие чудеса, как деяния Красной армии, являются не каждый день. Самое замечательное в творчестве Лавренева — его юмор, его романтическая ирония. Из омута противоречий автор выходит так, как выходили иенские романтики. У него есть нечто общее с ними в попытке разрешить конфликт между порывом личности к бесконечному и ограниченностью своего сознания. Лавренев, как будто, всегда чувствует могущество мелочей и реальных явлений, и в то же время ум его не мирится с теми пределами, которыми они окружают его. Вот почему, подобно романтикам, он не только бесплодно стремится вырваться за эти пределы, но и наблюдает это стремление и свое бессилие. Ироническим отношением к своей ограниченности он, как будто, возвышается над слабостью своего собственного мышления. Романтическая ирония позволяет человеку свободно парить над миром явлений, открывает полный простор его поэтическому произволу, позволяет ему принимать весь мир без трагизма, господствовать и над окружающим, и над самим собой.

Лавренев — самый занимательный из современных писателей. Можно подумать, что он полюбил гражданскую войну главным образом за те богатейшие ослепительно пестрые сюжеты, которые она дала поэту, что для него она действительно драгоценный мешок с золотом, которое можно хватать оттуда целыми пригоршнями. Но, как увидим сейчас, и этот писатель в своем мироощущении подчинен общему могучему стремлению нашего времени. И этот фантазер, как будто, со стороны глядящий на вихрь событий, выхватывающий из них наиболее цветные, — и он, в конечном итоге, хотя и по-своему, приводится к общей цели, и он озаряет современность так, что ее глубочайший смысл становится еще более ясным. Самый типичный для Лавренева рассказ, это — «Рассказ о простой вещи». Он начинается с «экстренного сообщения»: «Красные покидают город. Части добрармии вступили в предместье. Население призывается к спокойствию».



Среди суматохи, которой сопровождается смена властей, среди волнения, охватившего обывателя, совершенно спокойным оказывается застрявший в городе француз, одетый с иголки, с тонким носовым платком, с серебряной пудрицей, очень скверно говорящий по-русски и идеально на своем родном языке. Леон Кутюрье восхищенно приветствует вступающие в город войска и, вежливо раскланявшись с офицером, вспоминает, что «маршал Фох» сказал: «Русску арме один голи куляк разбиваль бошски пушка». Далее следует ряд событий, ошеломляющих читателя. Оказывается, что изящный француз никто иной, как председатель губчека Орлов, который решил остаться в городе для того, чтобы шпионить за белыми, овладевшими городом. Его жена Маргарита-Анна Кутюрье — товарищ Бала. Она даже и не жена ему, а самоотверженный член партии. Поселившись у доктора Соковнина, оба партийца мастерски разыгрывают мужа и жену, ложатся, чтобы не возбудить подозрений, на одну кровать, и нужно отдать справедливость автору, что он умеет приковать внимание читателя к рискованному положению обоих героев, полному опасностей. В один прекрасный день газеты оповестили о поимке «известного садиста, истязателя и палача Орлова». Узнав о поимке какого-то несчастного, настоящий Орлов вдруг заявляет другому коммунисту, Семенухину, что он чувствует потребность пойти и сдать — история, напоминающая Жана Вальжана у Гюго. Автор создает драматический диалог между Семенухиным и Орловым:

Вместо меня дурацкой ошибкой, роковым сходством приведен к смерти человек. Не враг — не офицер, поп, фабрикант, помещик, а мужиченко. Один из тех, для кого я же работаю. Может ли меня избавить партия от опасности ценой его смерти? Могу ли я спокойно перевесить чашку весов на свою сторону?

В глазах Семенухина это — интеллигентская постановка вопроса, всякое там нравственное право, достоевщина. Для истинного коммуниста существует только дело партии, и никто не имеет права его проваливать. Семенухин вынимает револьвер и хотя не приводит его в действие, но заявляет, что те глупости, которые наговорил Орлов, достаточны для исключения любого

товарища из партии. Он советует Орлову отдохнуть два дня и приняться за дело.

Случай, играющий такую большую роль во всех повествованиях Лавренева, сталкивает Орлова, снова принявшего образ Леона Кутюрье, с двумя офицерами, из которых один и арестовал мнимого Орлова, опознанного рядом присутствующих. Офицеры выбалтывают изыщному французу подробности ареста и сводят его с третьим офицером Соболевским, агентом контр-разведки. Далее фантастический кутеж всех, откровенные признания: выпившего Соболевского, девицы, замечательная теория Соболевского о переустройстве России после изгнания большевиков.

«превратить эту сволочную страну в пустыню; у нас сто сорок миллионов населения; право на жизнь имеют только два-три, двет расы: литература, искусство, наука; сто тридцать семь миллионов на удобрение».

Словом, мужичье надо прессовать, сушить и на поля, истребить, а работать будут машины. Покупка африканских дикарей для надзора за машинами и т. д. Орлов решает воспользоваться пьяным Соболевским, чтобы проникнуть в тайны контр-разведки и этим путем освободить невинно арестованного, мнимого Орлова. Соболевский вызывает машину, очень вежливо подсадил Орлова, и дальше следует такая сцена:

Машина взвyla и бесшумно поплыла по пустым улицам. Резко стала у двухэтажного дома в переулке. С крыльда окликнул часовой.

— Свой... Глаза вылезли, твою... — крикнул Соболевский и жестом пригласил Леона. Они прошли прихожую и поднялись во второй этаж. Налево по коридору Соболевский постучался. На оклик распахнул дверь. Из-за стола в глубине слабо освещенной комнаты встал квадратный, широкоплечий в полковничьих погонах.

— Соболевский... вы. Что за е... — и оборвал, увидев чужого.

Соболевский отступил на шаг и бросил:

— Господин полковник, позвольте представить вам моего друга... Товарищ Орлов.

Так белогвардейский охранник перехитрил красного чекиста. Этими неожиданными эффектами полна повесть. Орлов в руках палачей. Его готовы подвергнуть пыткам, к счастью, приходит приказ передать его в распоряжение следователя, капитана Тумановича. Далее неудачная попытка к бегству и смертная казнь.



## II

Рассказ напоминает не то фантастические романы Виктора Гюго, не то детективные повествования. Автор владеет в совершенстве умением приковать внимание читателя к развитию действия. Порою кажется, что он ставит себе целью только нагромождение эффектов, что он чистый романтик и пользуется фактами только как материалом для своей необузданной фантазии, что он не преследует никаких серьезных целей, что у него нет никакого идейного содержания, что он один из тех, чье творчество служит для так-называемого легкого чтения. В действительности, это не так. Лавренев — писатель революционный. Его сфера — изображение сильных закаленных характеров, и, в конечном счете, его фантастика порождает своеобразное художественное оформление той идеи, которая господствует во всей литературе о Красной армии, той мысли, что ее железная дисциплина, а в этой последней закон революции всегда торжествует. Орлов казнен, но перед смертью он одерживает великую нравственную победу.

Финал повести напоминает финал знаменитого романа Гюго «Девяносто третий год». И там два непреклонных человека, разделенных политической враждой, встречаются в тюрьме перед казнью одного из них — для того, чтобы выразить уважение друг другу. Накануне казни республиканец Говэн приходит в тюрьму к смертному врагу республики Лантенаку для того, чтобы спасти его ценою собственной жизни. Такое же чувство удивления перед твердостью Орлова влечет к нему капитана Тумановича. Последние дни, проведенные Орловым в тюрьме, исполнены были мучительной мысли, что его разговор с Семену-хиным даст ложное представление партии об его аресте: есть все основания думать, что он отдался сам в руки белых для того, чтобы спасти невинно арестованного мнимого Орлова. В тюрьме он пишет письмо к товарищам по партии, где выясняет настоящий ход дела. Капитан Туманович под каким-то предлогом проникает к нему в тюрьму и предлагает ему яд для того, чтобы избавить его от расстрела. Взволнованный Орлов,



однако, отказывается. Заключительная сцена повести замечательна не только как новое свидетельство бурной фантазии автора, но и как нравственное торжество Орлова над капитаном:

— О, господин капитан. Я вам весьма обязан за вашу любезность, но не воспользуюсь ею. Я переиграл, — как дурак, попался в лапы вашим прохвостам и не смог выполнить порученное мне партией дело, но и не имею права портить это дело дальше.

— Я не понимаю.

— Вы никогда этого не поймете. А между тем это такая простая вещь. Я погубил доверенное мне дело, — я должен теперь хоть своей смертью исправить свою ошибку. Вы предлагаете мне тихо и мирно покончить с собой. Не доставить последнего удовольствия вашим палачам. Не знаю, почему вы это делаете...

— Не подумайте, что из жалости... — перебил капитан.

— Допустим... Лично для меня это прекрасный выход. Но у нас, капитан, своя психология. В эту минуту меня интересует не моя личность, а наше дело. Мой расстрел, когда о нем станет известно, будет лишним ударом по вашему гниющему миру. Он зажжет лишнюю искру мести в тех, кто за мной. А если я тихонько протяну ноги здесь, это даст повод сказать, что, не умевший провести порученную ему работу, Орлов испугался казни и отравился, как забеременевшая институтка. Жил для партии и умру для нее. Видите, какая простая вещь.

— Понимаю, — спокойно сказал Туманович.

И в эти последние минуты жизни Орлова автор влетает много эффектных деталей. Неожиданна просьба Орлова сберечь его оправдательные записки и приобщить их к делам контрразведки до того дня, «когда город снова будет в наших руках». Еще более неожиданно согласие Тумановича. Эффектна протянутая рука Тумановича. Отрицательный жест Орлова, а затем его ответное пожатие и, наконец, прощальная фраза Тумановича: «Я хотел бы от своей судьбы одного, — чтобы в день, когда мне придется умирать за мое дело, мне была послана такая же твердость».

### III

Морально Орлов торжествует над Тумановичем, но оба они достаточно красивы и благородны тем благородством, которое ведет свое происхождение от рыцарского романа времен Амадиса.

---

В творчестве Лавренева борются две стихии: бескорыстная любовь к эффектным положениям, к романтической необычности и революционное сознание. Автор стремится держать читателя в непрерывном напряжении, заставляет его с неослабевающим вниманием следить за развитием фабулы. В основе этой фабулы всегда конфликт красных и белых. Автор чувствует смысл исторической драмы. Он всегда чувствует превосходство и неизбежное торжество сил, стоящих за красными, но на первом плане у него задачи эстетические, которым он подчиняет тенденцию. Фабула больше волнует, сильнее захватывает и пестрит более красочными чувствами, когда сталкиваются сильные с сильными, благородные с благородными, мужественные с мужественными. Меньше романтики, меньше вышешь фантастических узоров из борьбы сильного с слабым или храброго с трусом. Вот почему автор так любит сводить равных избранных — и из белых и из красных.

Поручик и Марютка стоят друг друга. В обоих есть великая сила. Одна — революционерка, всем своим существом ощущающая революцию, как свое кровное дело, другой — бесстрашный, тонко чувствующий и образованный, забубенная голова. Необычайные приключения, бегство прорвавшихся двадцати трех и храброй Марютки, захват в плен поручика, Марютка, скрутившая ему руки и стерегущая его в качестве часового, приказ Марютке убить поручика в случае приближения белых, стихи Марютки, буря, гибель всех товарищей, поручик и Марютка на необитаемом острове, как новые Робинзон и Пятница, их любовь, полные поэзии и опьянения ночи, наконец, убийство поручика Марюткой при приближении военного судна белых. Приказ выполнен. Непобедимая сила красноармейской дисциплины сказалась в инстинктивном движении руки, когда Марютка направила выстрел в своего возлюбленного, с которым прошла вместе путь испытаний, мук и радостей в борьбе против угрожавшей им гибели. Развязка у автора всегда примиряющая. Социальные причины борьбы уходят в тень перед каким-то другим высшим смыслом смерти.

В повести об Орлове автор прибег к особому эстетическому приему. Мы сначала видим француза. И хотя читатель чув-



---

ствуем, что здесь скрыта какая-то загадка, но некоторое время автор держит его в напряжении. И неожиданное разоблачение замаскировавшего себя чекиста производит впечатление яркого эффекта. Так же эффектна и игра Соболевского с Орловым: вначале мы думаем, что офицер действительно собирается кутить с чекистом, и только после прибытия их в контрразведку все предшествующие события получают совершенно другое освещение.

Противоположным приемом пользуется Лавренев в других рассказах, достигая и здесь больших эффектов. В рассказах «Красный узел» автор раскрывает свои карты с первой же страницы. Товарищ Аня Белоклинская забыла свое прошлое, покрылись пылью воспоминания о просторной квартире ее отца, гвардейского полковника Белоклинского, на Конногвардейском бульваре. Вырвавшаяся из кокона душа ушла в просторы. Товарищ Белоклинская оделась в порыжевшую кожаную куртку, бросила аристократическую тетку и стала работать в губкоме партии, сбросив с плеч оранжерейные годы, уйдя из нежного плена шелков, батиста, комнатной жизни, тончайше пропитанной дыханием Лентериков и Коти, баюкающей негой. И однажды путь товарища Белоклинской пересекся путем красного Романа, подручного слесаря от Лесснера, курсанта кавалерийской школы. Товарищ Аня, дочь полковника, полюбила товарища Романа.

У товарища Ани есть брат Сева. Он тоже в кавалерийской школе, но у белых. Роман и Сева одновременно кончили курс и одновременно вышли офицерами, не ведая друг о друге в разных станах. Когда Роман уезжал на фронт, Аня говорила ему:

«Там, на фронте, брат Сева; ему только девятнадцать лет; он вырос в обстановке нашего ледяного дома, под жесткой рукой отца, с детства начиненный военщиной, монархизмом, идеями величия империи, но он умный мальчик; на-днях я получила от него письмо, по письму увидела, что у него есть сомнения в правоте дела отца, мне хочется спасти его; я не хочу этой крови; помогите мне, Роман».

Автор переносит нас к белым. И какая-то примиренность, созерцание событий с какой-то высоты, философская отрешен-



ность от злости дня чувствуется в параллелях, которые автор умеет мастерски проводить. Словно хочет сказать, что и здесь, и там одно, у красных, и у белых, хотя здесь жизнь, а там умирание,—и одинаковой любовью любит и тех, и других.

Вот картина выпуска красных кавалеристов.

Серый строй курсантов замер цепью вокруг стен, человек в очках, стоя в середине манежа, на пропахшей лошадиным запахом рыхлой земле, медленно совершал круговой оборот во время речи, поворачиваясь лицом к шеренгам, и это еще больше завершало его сходство с машиной. В дальние углы манежа слова падали обрывками.

— Железный удар... Орлята пролетарской страны, вы не совсем оперились... Летите из вашего гнезда. Любовь и надежда всех угнетенных, — всех трудящихся масс с вами... Партия следит за вами с гордостью, ждет от вас сокрушительного удара по белым полчищам. В этот грозный момент помните... На вас лежит ответственность перед миллиардами трудящихся мира, и вы оправдаете себя. Вперед под знаменем РКП!

Человек сдвинул квадратные стекла на лоб и вытер вспотевший нос.

Войлочная полоса шинелей шатнулась и распахнувшимися кружками ртов бросила в потолок манежа грохнувшее залпом «ура».

А вот картина выпуска кавалеристов-юнкеров:

Генерал привстал на стременах... прищипорил коня и легко скакал навстречу конной группе. Там он остановил на полпрыжке скакуна, отсалютовал, подал строевой рапорт и, повернув, поехал шагом за лошадью командующего. Сотни глаз поворачивались за мешковатой, неловко сидевшей на седле фигурой, пока командующий проезжал на средину фронта. Он был грузен и неуклюж, сидел на лошади по-пехотному, расставив носки и оттопырив локти... Скрипучим голосом лениво и вяло он сказал:

— Здравствуйте, юнкера! — и недовольно поморщился в ответ на треснувшее «здравия желаем»... Пожевал губами и заговорил. Говорил он о славе, о величии, о дедовских победах, о славных заветах русской армии, о георгиевских знаменах, боевых подвигах, о спасении погранной родины, самоотвержении, но слова были тусклыми, бескрылыми и шлепались в дужу под ногами вороного коня, падали оловянной тяжестью...

И «ура» юнкеров были жидкими и неуверенными, и уехал командующий со скучающим и хмурым лицом. И, когда уехал, юнкера провожали его замечаниями между собой: «Не говорит, а кишку изо рта тянет, завять хочется, понамарь, сукин сын, по покойникам замечательно читал бы», и т. д.

В двух небольших картинах отражена пропасть, разделяющая обе армии и стоящие за ними два мира. И тем не менее, он — не боевой, не воинствующий автор. Оба столкнувшихся мира — внизу, он над ними, и, хотя видит неизбежное торжество одного и поражение другого, в его отношении к событиям всегда преобладает эстетнаблюдатель, гурман фабулы, если можно так выразиться.

Как путь Ани Бело克林ской пересекся путем красного Романа, так путь Севы или Всеволода Бело克林ского пересекся путем кабацкой девки Насти Руды, сестры слесаря Романа. И была ночь, когда кровь юнкера Всеволода Бело克林ского и невесты непорочной, впервые узнавшей любовь, исходившей в смертельной ласке, — одной стала кровью, связала двоих кровным, неразрывным узлом. Встретились Роман и Всеволод в огне битвы и, не ведая друг о друге, убили друг друга, и кровь их смешалась на степной древней польниной земле, и земля приняла любовно красные живоносные токи.

Кровь курсанта Романа и юнкера Всеволода, врагов, братьев, кровников, одной стала кровью в этот час.

Одна людям любовь, одна ненависть.

И нет большей любви, как та, что всходит над нашей землей, из почвы, впитавшей кровь, порожденную ненавистью.

И на любви — грядущее. Не нам любовь, — детям и детям детей наших.

Нам скорбная память. Вдовам и невестам слезы, одинокая туга сиротства.

Здесь мы соприкасаемся с одним из свойств Лавреневского творчества, с его лиризмом. Он — мечтатель, и кровавые события наших дней какими-то сложными путями претворяются в его душе в нежные чувства, в тихие настроения, в мысли, то грустные — о жертвах, то бодрые и ликующие — о грядущем свободном и счастливом человечестве. И когда он рассказывает свою «Повесть о двоих», то эта повесть, может-быть, и не о двоих, а о многих, о всех:

О нас, обо всех, — живых и помнящих, и о мертвых, чьи тела стали пищей шумным травам, наземом для тучных хлебов.

О тех, что легли костями по набережью синего Дона на ковыльный колеблемый пух, смешав на жаркой земле в общем потоке свою живую кровь.

И даже стешным коршунам, жадно прикишим к ней, измазавшим в алое загнутые клювы, не разобрать было, — где чья.

Одна кровь человечья, и нет в ней различия, когда уходит она из широко растворенных ран.

Итак, одна кровь человечья и нет различья.

Несомненно, этими словами определяется господствующий тон Лавреневского творчества. Он революционен, но это та революционность, которая не мешает любоваться и врагами, и друзьями, одинаково занимательно рассказывать и о революционных, и о реакционных силах, любить больше всего необычайные положения и художественные эффекты.



## ФЕДИН. ЯКОВЛЕВ. БЕРЕЗОВСКИЙ. АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

### I

**М**ы не исчерпали бы с достаточной полнотой нашей темы, если бы не упомянули о многочисленных повестях и романах, где Красная армия является фоном, на котором разыгрываются обыденные житейские драмы. Не все писатели, изображающие гражданскую войну, чувствуют величие совершающихся событий и вкладывают в них глубокий смысл, возвышенные идеи и нравственную проповедь. Есть целая серия писателей-бытовиков, рассказывающих о нравах, сложившихся во время гражданской войны, о любви и ревности, обо всем том, о чем всегда говорила литература.

Таков роман Федина «Города и годы», возвращающий нас к старой теме о русском интеллигенте.

Существо русского интеллигента не раз выглядывало в современной литературе, как будто забывшей в наши несродные его душе дни об этом излюбленном герое дореволюционной литературы. Его голос, иногда трагический, иногда тихий и примиренный, можно было слышать не только в повестях Пильняка и Аросева, но даже в победных гимнах поэтов «Кузницы», только там он звучал спорадически, никогда не разливался волнами такой влекущей и разнообразной симфонии, как в романе Федина. В этом романе есть то, что так любила старая теория словесности — центральный герой. Личность, ее страсти — та ось, вокруг которой стройно располагаются все отдельные моменты романа, — «стройно», от чего мы отвыкли в эпоху гражданской войны, в эпоху литературы дневников,

---

записок, обрывков и т. п. Герой романа оравлен анализом. Он совершенно чужд социального объяснения событий. Мировая война, по его мнению, возникла не в результате обострившихся экономических противоречий, а в силу достатка и довольства, сковывающих воинственные инстинкты человеческой души. Слишком давно нет выхода запасам ненависти. Есть азбучный закон биологии: орган, остающийся долго без упражнения, утрачивает способность отправлять свои функции. Была когда-то кровная месть. Позднее она понизилась до дуэли. Дуэль вылилась в мензурку: подарал щеку противника рапирой и довольно. И, наконец, полное падение: вам дали пощечину, судья оштрафовал обидчика — и оскорбление смыто, вы спокойны. Вот почему война стала неизбежной. Под сознанием всего народа лежат целые пласты напряженного нетерпения. Все кругом так насыщено, налито, наполнено, что необходима разрядка. Современная жизнь не дает выхода энергии. И мир через край переполнен величайшим нетерпением.

Итак, война — выход для накопившейся энергии. Это, своего рода, спорт, игра для того, у кого «силушка по жилушкам погуливает», кто не нашел себе более привлекательных занятий. Великий смысл гражданской войны, мировые задачи, осуществляемые Красной армией, — все это чуждо герою фединского романа. Если что ново в этом романе, то это — сила и трагизм интеллигентского надрыва в современной обстановке. Андрей Старцев только чувствует, созерцает, размышляет. А если действует, то как-то механически, не в этом сущность его, это где-то неясно маячит вдали. Жестокость и кровь — только фон, а яркие на нем любовь и цветы. Покидая родной город, в те бурные дни, когда шумели нестройные голоса, неслись свернутые плакаты и знамена, и когда бушевала толча на узкой платформе вокзала, качающейся под ногами от выкриков, сливались в какой-то хаос и скрипящий ящик и торопливые поделуи с товарищами, — он руководился какой-то неотступной волей: «испытать».

В этом «испытать» вся сущность этого героя, все его отношение к историческим событиям, ненасытная тоска, бесплодное стремление в потоке сильных ощущений потопить чувство своей ненужности и своего безделья. Это — то же «пахать» Лавре-



---

кого, те же баррикады, на которых нашел свой конец Рудин, та же смерть за какое-то индийское племя, которой завершился душевный бунт Рене, и, может-быть, та война за свободу Греции, в объятия которой бросился мятежный Байрон. Андрей Старцев — новая разновидность этого непокаянного героя.

Что бросило его в революцию и заставило сражаться в рядах ее бойцов? Какие-нибудь представления о ходе исторических событий, о потребностях момента, марксизм, вообще, что-нибудь из того, что мы привыкли приписывать человеку, стоящему на высоте современного общественного сознания?... Конечно, нет. Ему, этому человеку разъедающего анализа, непрерывного неустанного, никогда не покидающего его измученный мозг, ему вдруг открылось, почему он «постоянно чувствовал себя угнетенным». Революция для него — не дело осознанного долга, а убежище, куда он бросается от своей неизменной спутницы — неутолимой тоски, от своей вечно грызущей его совести:

Какой-то мрак окутал меня, я задыхался от него, у меня не было ни минуты передышки. Знаешь, что это было? Это было ложное сознание, будто бы я не несу ответственности за ужас, который совершается в мире. Будто бы я не виновен в этом ужасе. Но совесть не давала покоя, совесть — это страшно.

... Я виновен в том, что посылал людей на смерть и не шел с ними сам... Под Саньшиным, когда надо было бежать за смертью вместе со всеми, я понял, что значит совесть... я понял, что нужно взять на себя всю тяжесть ужаса, а не бежать его, считая, что в нем виновен мир, но не я... О, я теперь другой, совсем другой. Я с наслаждением иду на фронт, я уже не мог бы теперь жить как прежде, я просто умер бы с тоски...»

## II

Андрей Старцев принадлежит к числу тех героев, которые даже и на смерть идут только для того, чтобы не умереть с тоски. Если он вмешивается в события (а автор — мастер изображать эти события: перед нами проносятся действительно города и годы, начиная от девятого ноября в Германии и кончая «восстанием мордовского народа» в России), то смысла во всех этих войнах, революциях, контр-революциях он не улавливает, их историческое значение не достигает его сознания. Они для



---

него — то разрешение для его истерических припадков, то средство успокоения мятущейся совести, то предмет для размышления, то точка приложения его бездействующих сил. Целая гамма давно знакомых нам переживаний тоскующего интеллигента. Великое искусство Федина в этом умении притянуть самое волнующее событие к обывательской личности. Что бы ни изображал Федин: движущиеся ли толпы восставшего народа, бросающиеся ли друг на друга армии, сметенные города или взбудораженные деревни, — он начинает всегда с окошечка обывательской квартиры, откуда выглядывает человеческое око, привыкшее смотреть но не участвовать.

И в двух картинах, развернутых перед нами, в картине потрясений недавнего времени и в картине личных страстей, внимание читателя приковано к этой второй картине, которая как бы покрывает первую. Автору нельзя отказать в богатой фантазии. Главный герой сошелся в Германии с некоей Мари, отпрыском немецкой аристократической фамилии, невестой маркграфа фон-дур Мюлен-Шенау. У Андрея Старцева есть друг, художник Курт. Это — тот самый Курт, душу которого закабалил маркграф. Война и революция сплетают отношения этих героев в такие запутанные узлы, которые напоминают о романах Гюго. В минуту страшной опасности, которой подвергся Старцев, маркграф, немецкий офицер, освобождает его, нарушив военный долг (а кто не знает, что значит долг для лейтенанта), освобождает только потому, что узнал о дружбе Старцева с Куртом, художником, картины которого он скупал для удовлетворения своего аристократического самолюбия. Но вот все изменилось. Действие переносится в Россию. Курт, взятый в плен на войне, становится в России коммунистом и играет руководящую роль в совете германских депутатов, образованном немецкими пленными. Андрей примыкает к революционному движению, а маркграф организует «восстание мордовского народа» против большевиков. Восстание подавлено, и маркграф попадает в плен к Андрею и Курту. Настало время заплатить свой долг, и Андрей помогает маркграфу бежать, выкрад для этого документ из папки Курта и нарушив свой революционный долг. Курт убивает Андрея. Маркграф,

---

узнав об измене Мари, создает план утонченной мести,—он передает ей письмо Андрея и уговаривает ее ехать к своему возлюбленному. Этим оскорбленный аристократ надеется убить коммунистическую веру мечтательницы Мари, послав ее в самое горнило революционных ужасов, голода и страданий, а с другой стороны, столкнуть ее с соперницей, так как к Андрею приехала Рита, с которой он сошелся в Семидоле. Эта голая схема романа показывает, как искусно умеет автор развешивать интригу и создавать эффектные коллизии. Это дает ему возможность перебрасывать своих героев из одного места в другое, из аристократических замков Германии на поля сражений, из столиц в глухую провинцию, и все это стройно объединить вокруг главного героя.

Новые силы, взрывающие мир старых отношений, обрисованы четко, как Голосов, летчик Щепов и другие. Но если уже искать подхода самого автора, то кажется, что ему ближе другая Россия: повисшая тяжелыми гириями на крыльях стремящихся к небу одиноких орлов.

Если не считать военкома, да секретаря партии, остался в неприкосновенном целомудрии Семидол царя Гороха. Весь ваш пролетариат пополз ко всеобщей, к Покрову пресвятой богородицы. В партийном комитете дежурная сторожиха вяжет варежки, у особого отдела заснул красноармеец, а заведующий народным образованием рубит в корыте капусту для пирога. Ладно еще, что вы печатаете «Известия» на бутылочной бумаге. Она хоть и плохо, а раскуривается. Вот вам и революция.

Или из дневника маркграфа.

Я застал Россию в революции. Другой я не знаю. Но, на мой взгляд, она и не была другой. Я думаю о миллионах километров, которые лежат таким пластом, как Пичеур. Сельмой век. С ноября выпадают снега. Люди прячутся в берлоги, снят полгода. Если это — революция, то что же было до нее?

Автор не ответственен за настроения своих героев, а тем более, нельзя бросить такого упрека Федину, который изумительно разнообразен, который видит всю пестроту, все многоцветные пятна развешивающихся перед ним событий. Но когда закрываешь последнюю страницу романа, когда пытаешься схватить то, что осело в душе от этой волнующей книги, тогда



чувствуешь, что перевешивает безнадежность, притаившаяся повсюду, в беспредельных лесах, на необозримых полях, в умах и сердцах миллионов людей, которые обходят свои поля, как обходили сотни лет и, как чудится, будут делать еще столетия, быть-может, всегда. Кто знает, о ком говорит автор, о своем ли герое, или о тысяче героев, ему близких, или, быть-может, о самом себе, но, во всяком случае, не о человеке, который ему органически чужд и враждебен:

Вот мы кончаем повесть о человеке, с тоскою ждавшем, чтобы жизнь приняла его. Мы оглядываемся на дорогу, по которой ступал он следом за жестокостью и любовью, на дорогу в крови и цветах. Он прошел ее, и на нем не осталось ни одного пятна крови, и он не раздавил ни одного цветка. О, если бы он принял на себя хоть одно пятно и затоптал хоть один цветок. Может-быть, тогда наша жалость к нему выросла бы до любви, и мы не дали бы ему погибнуть так мучительно и так ничтожно. Но до последней минуты он не совершил ни одного поступка, а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь.

Есть одно слово, резко отделяющее психику старого интеллигента от нового. Это слово «они». Оно неведомо новому поколению, насквозь пронизанному строительским пылом, оно неведомо новым людям, которые уже не могут отойти в сторону и, глядя на жизнь, приписывать ее движение каким-то силам, лежащим вне их собственного воздействия. Теперь уже нет виновных и невиновных. Или мы все виновны, или никто. В литературе нет лучшего мерила для отделения своих от не-своих. Человек новой психики разрешение всякой проблемы инстинктивно переносит в плоскость активизма, воли. О чем говорит роман Федина? О том, как живуча еще созерцательная стихия, как легко возрождается она при благоприятных условиях, и какими соблазнами владеет она. От этой «идеи» романа не спасает ничего. Ни заключительные похоронные слова по адресу главного героя, ни то мастерство, с которым обрисовывает он новых людей воли и действия.

И в веренице образов, которые вызвала к жизни гражданская война, среди разнообразных героев, которым прикосновение к Красной армии дало железную волю, необходимо отметить и тех безнадежных, сознание которых не затронуто было истори-



---

ческими событиями времени, которые так и погибли в водовороте бесплодных размышлений и внутренних противоречий.

### III

Личную драму на фоне гражданской войны изображает и Александр Яковлев в рассказе «Без берегов». Героиня рассказа жила той «маленькой комариной жизнью», которой жили многие девушки обывательских провинциальных семейств. Мать всегда в хлопотах, отец добряк, но какой-то показной, жил по уставу. Братья погибли во время империалистической войны. И после этой гибели девушка еще яснее почувствовала, как возмутительна была вся эта жизнь: надо все сломать, чтобы другие матери не умирали от боли за своих убитых сыновей, а отцы были искренни, были людьми и не плакали втихомолку. Она стала коммунисткой и работает на фронте, выполняет ответственные поручения, производит допросы в усмиренных городах и деревнях. И хотя она женщина, и в ней сильнее других голоса рождения, любви, а не смерти и ненависти, но «дух силен, сильна воля, меч в ее руке... кровь, это—необходимость, это несчастье, с которым надо помириться». Надя полюбила Сергея и переживает глубокую внутреннюю драму. В ней происходит тяжелая борьба между ее женскими инстинктами и отношением к любви Сергея, коммуниста, ответственного работника, который убежден, что любовь только мешает революции. Он посмеивается над любовными признаниями Нади. Любовь, по его мнению, явление чисто физиологическое, и грош ему цена; у людей, делающих большое дело, нет и не может быть никаких сантиментов вроде любви. Такими пустяками некогда заниматься в такое серьезное время; весь мозг, все силы—только работе; семья и любовь—и есть настоящий разврат: двухспальная кровать, это—могила всякого таланта, всякой энергии, всякого ума, разврат, потому что человек, у которого под боком колодец, удовлетворяет в любой момент даже и маленькую жажду.

Раз жена или любовница под боком—значит, играй в любовь, сколько хочешь. Значит, убивай силы. Нет, конец. Ни семьи, ни любви. Вообще бы всю жизнь жить в целомудрии, никакой

---

женщины. Работать бы, создавать, кипеть. Весь ум, все силы — своему делу. Но раз природа требует, — отдай ей самое необходимое и самое ничтожное. Отдай и забудь, как можно надольше.

Он доходит до цинизма и с большим сочувствием рассказывает об одном знакомом, который по субботам ездил к некоей Матрене для удовлетворения своих физиологических потребностей и зато был прекрасным работником. Сергей не оставлял никаких иллюзий Наде, и она глубоко страдала, так как жаждала иметь «своего» мужа. Она чувствует раздражающее ее противоречие: вступая в партию, женщины, как будто, решают все вопросы семьи, ребенка, принимают теорию о том, что ревность низменное чувство, и в то же время эта ревность так ужасна, и она не в силах справиться с ней. У нее бесконечные споры с мужем. Она приводит ему в пример революционеров и в истории и в нашей революции, которые были мужьями. Но он остается твердым: у него нет и не будет жены: жена у революционера — какая-то чепуха; жена требует ухода, сил, а их так мало, и так нужны они именно в революции.

Надя, расстреливавшая контр-революционеров, мужественно принимавшая участие в сражениях, не могла победить в себе мук любви. И напрасно говорила себе в минуты подъема:

«Как мала моя личная жизнь перед этим, что было вот сегодня, вчера... И можно ли думать о личной жизни, когда и страна и весь мир ждут от тебя самопожертвования и подвига... В восстаниях горит весь край. Хутора сожжены. Села, деревни и колонии наполовину, а иногда сплошь — разрушены. Вот нищета, вот голод, вот острое несчастье, реальное, как петля, накинутая на шею. Эка важность, что тебе изменил любовник. Ты вот посмотри».

Во время походов ее боль утихает. Она умеет восторгаться «непобедимыми воинами, красными орлами», как их величают в приказах. Она видит как они единодушны в собраниях и в строю, как цепко держатся друг за друга и, если надо умереть, умирают с удивительным мужеством вместе. Ничто не устоит перед их криком «даешь». Но на стоянках она подмечает, что они тоскуют, — конечно, молча, — тоскуют о доме, о семье. Революция не погибнет, пока она опирается на них, этих восторженных проставов.



И, тем не менее, Надю не спасла Красная армия, бои и пафос революции, как не спасли они Андрея Старцева в романе Федина. И она, как и он: «надо двигаться, чтобы забыть — о себе забыть». Она мужественно и сознательно служит революции, но личное сильнее, и она кончает тем, что умоляет Сергея, бросившего ее и заразившегося венерической болезнью, притти к ней, пишет записки и ждет часами, и Сергей не приходит.

Нет надобности и возможности приводить всю бытовую литературу, вносящую так много ценных штрихов в историю жизни Красной армии; если когда-нибудь будут собраны бесчисленные мелкие рассказы, рисующие отдельные эпизоды великой драмы, действие которой разыгрывалось на десятитысячверстном пространстве, — тогда будут освещены все уголки и все моменты в истории гражданской войны от Кавказа до Архангельска и от Харькова до Владивостока. Их много, этих повестей, не мало написанных с революционным пафосом и искренним чувством. И не одна из них заслуживает внимания.

Вот небольшая повесть Березовского «Мать». Мы в небольшом городке в эпоху чехо-словацкого господства. Героиня рассказа — Степанида, убежденная революционерка. Ее муж приезжает от красных за снарядами и оружием, чтобы укрыть его от властей. Она помещает его в «подполье», завалив это подполье землей. Во время обыска происходит обвал, и Федор погибает. Тогда Степанида берет на себя его дело, через страшные опасности, ежеминутно рискуя головой, отвозит к красным снаряд, который укрыла у себя на груди, и взрывает поезд белых с снарядами и вместе с собой, для того чтобы сохранить жизнь своему сыну, которому партия поручила произвести взрыв артиллерийского склада при помощи этого снаряда.

#### IV

Былинная литература, эти своего рода *chansons de geste*, «песни о деяниях», не только не замирают, но растут и растут. Есть о чем рассказать пролетариату и, особенно, пролетарской молодежи об этих годах, когда на фронтах, отделенных друг от друга тысячами верст, бились рабочие и крестьяне.



Почти каждая книжка «Молодой Гвардии», каждый альманах приносит нам рассказ о недавнем героическом прошлом, рассказ, похожий скорее на воспоминание о том или другом эпизоде, поразившем воображение молодого автора, почти всегда его участника.

Для некоторых эти рассказы останутся, быть может, их единственным литературным произведением. Один из знаменитых редакторов как-то заметил: нет человека, который бы не мог в своей жизни написать один талантливый рассказ, потому что каждого раз в жизни что-нибудь потрясло с такой силой, что он не может не говорить об этом, не заражая волнением других. Эпоха гражданской войны создала не одного рассказчика такого типа. Многие из них — не художники по призванию, но на мгновение они становились художниками, когда события, в которых они участвовали, складывались так, что поражали их воображение.

Если когда-нибудь удастся собрать всю эту богатую литературу, начиная от больших эпопей и кончая очерками и даже небольшими заметками, тогда мы будем иметь полную картину гражданской войны, быть-может, более верную, чем все исследования историков. Нет возможности остановиться на всех авторах, на всех записках и воспоминаниях, но следует отметить хотя бы тех, в которых нетрудно уловить наличность литературного таланта, которые освещают своим светом тот или другой пункт громадного фронта борьбы.

В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-Крестьянская Газета» писала: «12 мая наши части под давлением превосходных сил противника, оставив разъезд Кедровая Речка, отошли на линию ст. Бейдухе. Дальнейшее продвижение противника приостановлено»... Прочитав сводку, командующий северным фронтом невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что поражение под Кедровой Речкой являлось, на самом деле, разгромом красного фронта. «Превосходные силы противника» заключались в одном батальоне, разогнавшем десяти-тысячную армию. «Движение противника» отнюдь не было приостановлено, но он сам не пошел дальше, боясь расплыть немногочисленные силы по мелким станциям и разъездам.

Об этом сообщается в небольшом рассказе Ал. Фадеева «Против течения».

---

Развал фронта полный. Целые полки самовольно снимаются и уходят за Амур. Карты составлены неправильно. Никто не хочет повиноваться, и нет никакой надежды выйти из положения. Командующий армией «привык к организованным войсковым единицам». Это был командир старой армии. Он провоявал четвертую часть своей жизни, из которой почти три года пришлось на борьбу с советской Россией. Теперь она маячила перед ним, как последнее и единственное убежище. Он не верил больше в успех белых и думал, что Приморье спело свою песенку и «надо кончать».

Сила впечатления заключается в великолепной антитезе, которая проходит через все отдельные моменты рассказа. Великому развалу, неудержимому, казалось бы, течению вспять противостоят несколько коммунистов и во главе их комиссар армии, бывший токарь, Соболев. Без всякого пафоса, без восторженных комментариев автор передает только факты об этих одиночках затерявшихся среди моря шкурников и дезертиров. Талант автора не только в том, что он умеет в двух-трех жестах, суровых, отрывистых распоряжениях представить выпуклую фигуру каждого из этих рядовых борцов. В рассказе вырисовывается контраст двух миров, двух исключаящих друг друга психических организаций, двух противоположных подходов к работе, противоположных представлений о долге. Побеждает новое, хотя, казалось бы, все предпосылки в пользу старого. Все искусство Фадеева только в выборе фактов, в указании на нескольких лиц, и, тем не менее, сила художественного впечатления велика.

Еще более мелкие эпизоды в других рассказах. Какой-то покоряющей бодростью, беззаветной удачей дышит рассказанная Артемом Веселым история двух матросов — Ваньки Граммофона и Мишки Крокодила. Чего только не пережили, в каких переделках не побывали ходовые, деловые Мишка с Ванькой? И грабили, и воровали, и хулиганили с того памятного семнадцатого года, когда «из крейсера вывалились и по сухой пути плавали, всю гражданскую войну на море ни глазом, шатались по свету белу, удаль мыкали, за длинными рублями гонялись». Не ребята — угар, не шпана какая-нибудь, широкой программы ребятки.



---

И в них ревели ураганы, и через них хлестали взмыленные дни: не жизнь — клюковка: по муслу суло — язык проглотишь. Леса роняли. Реки огненные перемахивали. Горы гайбали. Облака топтали.

Потому что в Мишкиной груди, в Ванькиной груди, как цепная собака по хозяйскому двору, метался большущий бог. Клыкастый бог — матросский.

С неослабным вниманием следит читатель за историей этих двух удалцов, которым придется, в конце концов, сложить свои буйные головы. Любопытен крепкий матросский язык этой повести. Появление областного языка, всевозможных говоров в нашей художественной литературе стало крупным фактом. Целые страницы повести Гладкова написаны украинским языком. В литературе мы сплошь и рядом встречаемся с киргизскими, кавказскими, белорусскими и другими словами. Это еще более делает современную художественную литературу какой-то летописью жизни народов, населяющих бывшую империю, фотографическим снимком вулканических потрясений, произведенных революцией на пространстве шестой части света. Современные пролетарские писатели не заботятся о том, чтобы переработать свои сюжеты и облечь их в формы художественного русского языка. Жизнь преподносится так, как она есть, люди говорят теми словами, какими говорят у себя на месте. Писатель, как будто, больше заботится о собирании фактов, чем об отделке и художественной форме.

Когда от рассказа Артема Веселого переходишь к «Повести наших дней» А. Костерина, то кажется, будто из одного государства попал в другое, отделенное от него непроходимыми пространствами. Иные нравы, иной язык, другие темпераменты, другие типы людей. Это маленькая драма, разыгравшаяся в городе Грозном, где несколько сот товарищей, заключенных в тюрьме и обреченных на расстрел, подняли восстание. Недалеко от города находится небольшой отряд т. Гикало. Заключенные сносятся с отрядом и просят притти к ним на помощь в день восстания. В городе — до десяти тысяч войска, три орудия, пулеметы. В отряде Гикало — сто пятьдесят человек, разутых, раздетых, одно плохонькое орудие и пулеметы. Силы неравные, но там... 400 — 500 человек, многие



---

в кандалах, безоружные, их перережут, как цыплят, — и отряд выступает. Спассти повстанцев не удалось, но, благодаря нечеловеческому героизму, отряд захватил предместье и обеспечил спасение беглецам, которым удалось вырваться из рук войск. Через неделю агент Никита доносил из города:

Я отправился сейчас же к т. Гикале. Гикало мене дал наказ: поезжай в город и узнай, что там делается. Я приехал ночью в город, видел чудную картину: кто был привязан за шею, кто был прибитыми гвоздями на телефонных столбах, а кто висел кверху ногами. Я ужаснулся.

И много еще «мелких» эпизодов из истории Красной армии рассказано в современной литературе, — мелких при свете великих исторических событий, совершенных ею. Но каждый из этих эпизодов полон драматического движения, сам по себе сюжет для волнующей драмы. В каждом, «как солнце в малой капле вод», сверкает ярким огнем «целое», огромное, еще небывалое в истории: титанические усилия, героизм, источник которых в великом движении, потрясшем мир, в том мировом бунте, который начал русский пролетариат и который уже не уляжется до того момента, когда завершится борьба за освобождение эксплуатируемых классов, за осуществление организованного трудового общества. Литература показала, что эта идея, эта историческая задача нашей эпохи вдохновляла Красную армию в ее борьбе. Эта идея дала ей торжество не только над всеми попытками капиталистических стран загасить пламя восстания, загоревшееся на востоке Европы. Эта идея позволила ей одержать и победы иного, быть-может высшего, порядка, победы психологические и моральные. Она привлекла под ее знамя все чуткое и совестьное, она дала возможность найти под этим знаменем верный путь шатающейся мысли современной интеллигенции, вывела из колебаний и указала точку приложения творчества и энергии всем, в ком обывательские и мещанские вкусы не убили чутья современности, способности слиться с стремлениями ее творящих классов.

---

В заключение следует отметить, что в настоящее время в области культуры и искусства наблюдается значительный подъем. Это связано с тем, что государство уделяет большое внимание развитию культуры и искусства. В результате этого наблюдается рост интереса к культуре и искусству со стороны населения. Это способствует развитию культуры и искусства в нашей стране.

В заключение следует отметить, что в настоящее время в области культуры и искусства наблюдается значительный подъем. Это связано с тем, что государство уделяет большое внимание развитию культуры и искусства. В результате этого наблюдается рост интереса к культуре и искусству со стороны населения. Это способствует развитию культуры и искусства в нашей стране.

В заключение следует отметить, что в настоящее время в области культуры и искусства наблюдается значительный подъем. Это связано с тем, что государство уделяет большое внимание развитию культуры и искусства. В результате этого наблюдается рост интереса к культуре и искусству со стороны населения. Это способствует развитию культуры и искусства в нашей стране.

## СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Красная армия в лирике . . . . .	3
Фурманов. Малышкин . . . . .	21
Серафимович. Новиков . . . . .	37
Гладков. Аросев . . . . .	47
Бабель . . . . .	58
Демьян Бедный . . . . .	72
Либединский . . . . .	87
Всеволод Иванов. Костерин . . . . .	100
Лавренев . . . . .	116
Федин. Яковлев. Березовский. Артем Веселый, . . . . .	127

---



COLLEGE LIBRARY

101	History of the United States
102	Geography of the United States
103	Political Economy of the United States
104	Law of the United States
105	Education of the United States
106	Religion of the United States
107	Science of the United States
108	Art of the United States
109	Literature of the United States
110	Music of the United States
111	Drama of the United States
112	History of the United States
113	Geography of the United States
114	Political Economy of the United States
115	Law of the United States
116	Education of the United States
117	Religion of the United States
118	Science of the United States
119	Art of the United States
120	Literature of the United States
121	Music of the United States
122	Drama of the United States
123	History of the United States
124	Geography of the United States
125	Political Economy of the United States
126	Law of the United States
127	Education of the United States
128	Religion of the United States
129	Science of the United States
130	Art of the United States
131	Literature of the United States
132	Music of the United States
133	Drama of the United States
134	History of the United States
135	Geography of the United States
136	Political Economy of the United States
137	Law of the United States
138	Education of the United States
139	Religion of the United States
140	Science of the United States
141	Art of the United States
142	Literature of the United States
143	Music of the United States
144	Drama of the United States
145	History of the United States
146	Geography of the United States
147	Political Economy of the United States
148	Law of the United States
149	Education of the United States
150	Religion of the United States
151	Science of the United States
152	Art of the United States
153	Literature of the United States
154	Music of the United States
155	Drama of the United States
156	History of the United States
157	Geography of the United States
158	Political Economy of the United States
159	Law of the United States
160	Education of the United States
161	Religion of the United States
162	Science of the United States
163	Art of the United States
164	Literature of the United States
165	Music of the United States
166	Drama of the United States
167	History of the United States
168	Geography of the United States
169	Political Economy of the United States
170	Law of the United States
171	Education of the United States
172	Religion of the United States
173	Science of the United States
174	Art of the United States
175	Literature of the United States
176	Music of the United States
177	Drama of the United States
178	History of the United States
179	Geography of the United States
180	Political Economy of the United States
181	Law of the United States
182	Education of the United States
183	Religion of the United States
184	Science of the United States
185	Art of the United States
186	Literature of the United States
187	Music of the United States
188	Drama of the United States
189	History of the United States
190	Geography of the United States
191	Political Economy of the United States
192	Law of the United States
193	Education of the United States
194	Religion of the United States
195	Science of the United States
196	Art of the United States
197	Literature of the United States
198	Music of the United States
199	Drama of the United States
200	History of the United States

## ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК“

Москва, Манежная ул., д. 7.  
Ленинград, ул. Марата 30.  
Киев, ул. Воровского, 25, маг. 35.  
Ташкент, Джизакская, 13.

**М. В. ФРУНЗЕ** — На новых путях. Сборник статей. 192 стр.  
Ц. 1 р.

**А. ТОДОРСКИЙ** — Красная армия в горах. С предисловием С. С. Каменева. 188 стр. Ц. 1 р. 20 к.

**ПИЛСУДСКИЙ** — 1920 год. Перевод с польского Петрусевича. С предисловием Триандафилова. 172 стр., 8 схем на отдельных листах. Ц. 1 р. 40 к.

**ДЯДЯ КОНДРАТ** — Красноармейская тальянка. Иллюстрированный сборник рассказов, стихов и частушек. 96 стр. Ц. 75 коп.

**ВИТОВТ ПУТНА** — Восточный фронт. Иллюстрированный сборник рассказов. 80 стр. Ц. 35 коп.

**КИН** — Десятый неполный. Иллюстрированный сборник красноармейских рассказов. 32 стр. Ц. 20 коп.

**НИКИТА** — Мишка Егоров. Красноармейское представление. 32 стр. Ц. 35 коп.

**ПАМЯТИ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ФРУНЗЕ.** Иллюстрированный сборник статей. 38 иллюстраций. 56 стр. большого формата. Ц. 40 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК»

Москва, Мясницкая ул. д. 7  
Адрес: Москва, Мясницкая ул. д. 7  
Москва, Мясницкая ул. д. 7  
Ташкент, Даванская ул. д. 11

М. В. ФРУНЗЕ — Не только воевал. Сборник статей. 1922 г.

Ц. 1 р.

А. ГОДОРСКИЙ — Красная армия в боях. С предисл. и вступит. словом. С. С. Кавензон. 188 стр. Ц. 1 р. 20 к.

ПРАСУДСКИЙ — 1920 год. Перевод с польского Петру-севича. С предисловием Гривинского. 172 стр. 8 очерков на отдельных листах. Ц. 1 р. 40 к.

ДАДА КОНРАТ — Кавказская армия в войнах. Издание. С предисловием и вступит. словом. Сборник рассказов, статей и очерков. 96 стр. Ц. 1 р. 25 коп.

ВЕТРОВ ПУТНА — Восточный фронт. Малостраничный сборник рассказов. 80 стр. Ц. 25 коп.

КИЕ — Детский неволяемый. Малостраничный сборник рассказов. 32 стр. Ц. 20 коп.

НИКИТА — Миссия Ерофеева. Кавказская армия в войнах. 32 стр. Ц. 25 коп.

ПАМЯТИ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ФРУНЗЕ — Малостраничный сборник статей. 38 страниц. 26 стр. в отдельном формате. Ц. 40 коп.



v



Цена 1 руб.

Подпись № 1139  
Лист 26/18  
Цена 1 Р. —



---

**ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК**  
Москва, Манежная, 7